

18+

Евгений Анташкевич



Хроника одного полка 1916

В окопах

Евгений Анташкевич

**Хроника одного
полка 1916. В окопах**

«Издательские решения»

Анташкевич Е.

Хроника одного полка 1916. В окопах / Е. Анташкевич —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-539487-3

Произведения Евгения Анташкевича — новое слово в современной исторической литературе, возвращение человечности. Читатель словно ощущает теплоту, исходящую от этих страниц. Следуя за хорошо осведомленным автором, повествующим о грозных исторических событиях, чувствуешь атмосферу эпохи, переданную через точность мелких деталей, начинаешь узнавать героев, мыслить как они. Данная книга — продолжение романа «Хроника одного полка. 1915 год».

ISBN 978-5-00-539487-3

© Анташкевич Е.
© Издательские решения

Содержание

I	6
II	14
III	21
IV	30
V	36
VI	42
VII	49
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Хроника одного полка 1916 В окопах

Евгений Анташкевич

© Евгений Анташкевич, 2021

ISBN 978-5-0053-9487-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

I

В командирском блиндаже собрались все офицеры полка. Телефонист доложил, что командир выехал утром из штаба армии, значит, скоро должен быть.

Клешня расстарался, и от полевой кухни, расположившейся в одной версте в глухом лесу, к ходам сообщений сновала двуколка, а дальше офицерские денщики несли бачки с угощением в командирский блиндаж.

Уже опустились ранние декабрьские сумерки, воздух над землёй сгустился в непроницаемый балтийский туман, и только это сделало возможными ведущиеся приготовления без риска попасть под немецкие гаубицы.

Блиндаж был оборудован добротнo. За два месяца, когда полк тут встал и окопался, драгуны натаскали лесу, напилили доски и построили командирский блиндаж в шесть накатов с засыпкой, с деревянным полом и обшитыми стенами; большой, подпёртый под потолок пятью в ряд толстыми брёвнами, с дощатым столом посередине, за которым могло усестся всё офицерское собрание.

В красном углу под иконами стояла рождественская ёлочка, украшенная самодельными игрушками, на потолке и по стенам развешаны еловые ветки с шишками.

Офицеры ждали командира, чтобы поздравить с повышением в чине. Об этом событии по большому секрету было известно из штаба фронта из делопроизводства генералквартирмейстера, секрет был уже, конечно, не секрет, но все усиленно делали вид, что ничего не знают, и десять дней назад, сразу после Рождества, провожали командира с актёрски равнодушными лицами.

За столом в дальнем углу под венской лампойлетучкой сидели ротмистр Дрок, ротмистр фон Мекк, доктор Курашвили и на раздаче поручик Кудринский.

Трое играли азартно, Курашвили механически, он думал о чёмто о своём, и это не осталось незамеченным. Когда доктор в очередной раз прокинулся, к нему обратился недовольный фон Мекк:

– Алексей Гивиевич! Евгений Ильич играет распасы́, а вы вместо того, чтобы скидывать, берёте его взятки. Всю игру ломаете, дьявол вас побери! Так негоже!

Курашвили поднял на ротмистра виноватый взгляд. Кудринский скромно промолчал, он ещё не привык, что совсем недавно он из категории субалтернофицеров был переведён командиром первого взвода №6 эскадрона и одновременно назначен начальником учебной команды разведчиков. А ещё его досрочно повысили в чине, и он стал поручиком.

– В картах, уважаемый Алексей Гивиевич, как на войне – упущенный шанс более не возвращается! – утвердился последним словом фон Мекк.

«Да знаю я!» – хотел было огрызнуться доктор, но промолчал. Он прекрасно понимал, что своей невнимательностью он не даёт отыгратся фон Мекку, который в самом начале пули нарисовал на Дрока зуб. Но у Курашвили была и объективная причина – сегодня игра не шла, а поговорка «карта не лошадь, к утру повезёт» не срабатывала. Он клал очередную карту, фон Мекк тихо матерился, Дрок подкидывал свою, Кудринский сидел на раздаче и краснел.

«Не надо было садиться!» – думал Курашвили, но до конца игры выйти из-за стола никак не мог.

У Курашвили за спиной на предпоследнем круге встал и наблюдал за игрой прикомандированный к полку инженерсапёр поручик Николай Николаевич Гвоздецкий, с первых дней

показавший себя весельчаком и жизнелюбом. Он прибыл перед Рождеством после излечения от раны, которую получил в сражении под Свенцьянами в сентябре прошлого года и быстро стал своим.

В итоге на этом круге Курашвили забрал все взятки.

Дрок хищно улыбался, потирал руки и следил за пулей.

Пулю на большом прямоугольном куске фанеры, обшитом зеленым сукном, писал Кудринский. У Кудринского был каллиграфический почерк, и это важное дело всегда поручали ему.

Курашвили пожал плечами, как будто хотел сказать, мол, не везёт так не везёт, господа или «чтото мне сегодня не везёт, господа», но его вдруг опередил Гвоздецкий:

– Карта, дорогой Алексей Гиевич, действительно не лошадь... ежели не везёт, она бывает хуже осла. Коли заупрямится, так её хоть стреляй! На вашей позиции надо бы руку сменить, а? Как думаете? Я готов взять на себя вашу гору, не против?

Это предложение было очень кстати, но оно почемуто задело Курашвили, а сильнее задело «Гиевич» вместо «Гивиевич», и он уже начал оборачиваться к Гвоздецкому, чтобы высказаться, но Гвоздецкий поправился:

– Гивиевич! Извините, доктор, у нас в полку тоже был грузин, как и вы, только его звали Анзор Гиевич! Простите меня великодушно, привычка!

Курашвили вздохнул и уступил место Гвоздецкому.

Тот уселся и хлопнул в ладоши:

– Ну что, господа, на новой руке – полный круг распасов, никто не против?

Все согласно кивнули.

– Тогда, поручик, – Гвоздецкий обратился к Кудринскому, – крутите сверху по одной! Начнём?

– Продолжим! – в тон поручику парировал Дрок и изобразил в адрес нового игрока очень злобную улыбку.

Курашвили встал за спиной у Гвоздецкого, он увидел его карты и поразился – они в точности совпадали с теми, что были у него во время последней игры.

Раздав, Кудринский вскрыл верхнюю карту прикупа – король бубей, и на него тут же прилетели дама от Гвоздецкого и восьмерка от фон Мекка, а ротмистр Дрок задумался. Теперь ротмистр фон Мекк смотрел на Дрока злобно и мстительно, а Гвоздецкий постукивал картами по столу. Дрок поджал губы, почесал в затылке и бросил свою карту поверх остальных – туз бубей.

– Нешто бланкбый? – манерно удивился Гвоздецкий и обратился к Кудринскому: – Нус, поручик, крутите дальше!

Компания замерла.

Кудринский аккуратно ногтем мизинца перевернул вторую карту из прикупа – это была семёрка тех же бубей. Гвоздецкий тут же с оттяжкой покрыл её десяткой, фон Мекк вежливо подложил девятку, а Дрок начал сопеть, но сопел недолго и потянулся забрать взятку.

– Позвольте, ротмистр... – начал было Гвоздецкий.

– А что у вас, Евгений Ильич? – поддержал Гвоздецкого фон Мекк.

Дрок открыл свою карту и молча развёл руками – на столе лежал бубновый валет.

– О как! – вымолвил Гвоздецкий. – Вот так раскладец! Поровну разлеглось!

– Каждой твари по паре! – промурлыкал фон Мекк.

Фон Мекк остался удовлетворённый, он поучительно посмотрел на Курашвили и выпустил такое густое облако папиросного дыма, что в нём потускнела висевшая над столом венская лампалетучка.

Гвоздецкий мельком глянул на облако и наставительно произнёс:

– Курите, ротмистр, курите больше – партнер дуреет!

Курашвили вздохнул, он понял, что Дрок со своим тузом и валетом строго соблюдает правило преферанса «сначала забирать свои», но расклад оказался не в его пользу. Доктору стало неинтересно, он накинул шинель и вышел.

Он поднялся по деревянным ступенькам из блиндажа, перед его глазами встала стена глубокого хода сообщений. Было темно из-за низко висевших туч, и если бы не туман, то было бы совсем темно. Туман был белёсый, поэтому казалось, что он чуть-чуть подсвечивается изнутри, и Курашвили ясно различал брёвна, которыми были обшиты стенки хода сообщений, свисающие между брёвнами из земли тонкие, как жилы, корни и обрубленные сучки. Он поднял голову – вверху всё было беспросветно, и ему захотелось завывать, и он подумал, что сейчас он пойдёт куданибудь в дальний конец, самый дальний, самый глухой угол окопов, сядет на корточки, задерёт голову и как волк завоюет на всё болото, на всё пространство вокруг болота, на всё пространство над болотом, и пусть кто-нибудь, кто подумает, что это на самом деле волк, пристрелит его. Он так подумал, но справа вдруг послышался шум шагов, он повернул голову и увидел большую фигуру, которую было трудно с кем-то перепутать, – это шёл Вяземский, а за его спиной мелькал золотым аксельбантом полковой адъютант Щербаков.

Вяземский подошёл.

– Что, доктор, дышите свежим воздухом? Небось накурили черти, не продохнуть? А?

– Я...

– Пойдёмте, – не дал ему закончить Вяземский.

Курашвили от некуда деваться сошёл по крутым ступенькам вниз, наклонился под верхнюю поперечную лесину над входом и отодвинул грубый парусиновый полог. Он вошёл в блиндаж, за ним вошёл Вяземский, и из-за стола поднялся Дрок.

– Господа офицеры! – скомандовал Дрок навстречу Вяземскому, и все встали.

– Господин полковник... – Ротмистр Дрок стоял перед Вяземским по стойке «мирно». –

В двадцать втором драгунском Воскресенском полку за время вашего отсутствия происшествий не случилось! Временно исполняющий обязанности командира полка, командир первого эскадрона ротмистр Дрок.

– Господа офицеры! – обратился Вяземский.

– Господа офицеры! – скомандовал Дрок.

– Прошу садиться, господа! – сказал Вяземский, однако никто не сел.

– Прошу садиться... – повторил Вяземский, но снова никто не шелухнулся.

Дрок слегка повернул к офицерам голову и пошевелил рукой. Курашвили подумал, что то, что придумали офицеры в отсутствие командира, – это шутка, но офицеры совершенно серьёзно вдохнули полные груди и приглушёнными голосами запели:

Наш командир вперёд летит,
За ним без остановки
Летят орлы его полка!
Заряжены винтовки!

– Командиру двадцать второго драгунского Воскресенского полка полковнику Вяземскому... – когда офицеры умолкли, стал приглушённым голосом провозглашать Дрок, но его перебил стоявший за спиной Вяземского Щербаков:

– Аркадию Ивановичу!..

И вдруг их перебил сам Вяземский, он таким же приглушённым голосом, как Щербаков и Дрок, умиротворяюще произнёс:

– Представляюсь по случаю, господа, представляюсь по случаю... и всё же прошу садиться...

Но офицеры, не повышая голосов, рванули:

– Ура! Ура! Урааа!!!

Курашвили стоял ошеломлённый и не мог пошевелиться.

– Прошу, господа, садитесь, наконец! – приказал Вяземский и первым сел. Он не заметил, что из блиндажа, стараясь не привлечь к себе внимания, вышел поручик Кудринский.

Курашвили пережил от увиденного некоторый шок, он ещё томился уйти, однако сейчас это было уже невозможно. А как бы он сейчас расположился в своём лазарете, отгородился занавеской от раненых, прежде снабдил бы их на ночь лекарствами и предался бы своим мыслям под стаканчик разведенного морсом с ягодами и вареньем спирта, достал бы Чехова и листал бы, листал...

Кудринский, точно также стараясь не привлечь к себе внимания, вернулся и подsunул перед Дроком красивую бутылку.

Дрок стоял. Он разгладил висячие усы, обвёл взглядом офицеров и остановился на Вяземском. Тот уже успел снять папаху, шинель и остался в кителе с новыми, чистым золотом шитыми полковничьими погонами. В свете лампы и поставленных на стол свечей погоны сияли.

– Господин полковник, ваше высокоблагородие... – обратился к командиру Дрок. В это время в блиндаж, как лазутчик, пробрался Клешня, а за его спиной денщики других офицеров. Дрок хотел на них цыкнуть, но встретился взглядом с отцом Илларионом и не стал. – Уважаемый Аркадий Иванович! Мы, офицеры вверенного вам двадцать второго драгунского Воскресенского полка, поздравляем вас с повышением в чине... – попытался продолжить свою проникновенную речь Дрок, но вдруг краем глаза увидел, что Клешня недовольно оглянулся и посторонился; денщики за его спиной стали волноваться и уплотняться, а за их спинами появились усатые лица эскадронных вахмистров и старших унтеров, у всех сияли глаза, и он услышал шепот:

– Раздайся, православные, всяк хочет сваво командира полковникомто увидеть!

«Прознали, черти!» – подумал Дрок, а Кудринский убрал бутылку со стола.

Вошедшие перетаптывались, побряхтывали, покашливали и не дали Дроку закончить. Он посмотрел на Вяземского, а потом на отца Иллариона, отец Илларион наклонился к уху Вяземского и чтото ему прошептал.

– Хорошо, – согласно кивнул ему Аркадий Иванович и обратился к вахмистрам и унтерам: – Заходите, господа!

Тут уже вахмистры и унтера, одиннадцать человек делегации, стали не стесняясь отодвигать перегораживавших им путь денщиков. Выйдя вперёд, они сбились кучей, и ближайший к Вяземскому, потоптавшись, начал:

– Вы, ваше высокоблагородие, дозвоьте от имени эскадронов поздравить вас с присвоением вам чина полковника, потому што вы... – он замаялся и получил локтем от соседа, – потому што вы... мы... потому што мы все очень все рады за вас... и приподнести вам наш подарок, какой смогли...

Вахмистр закончил свою речь, и остальные за его спиной стали шептаться и волноваться и вытолкали перед собою кузнеца Петрикова. Петриков упирался, но предстал перед Аркадием Ивановичем, он держал в подрагивающих руках деревянный ящичек с крышкой и миниатюрным на ней навесным замочком и протянул. Вяземский сделал шаг ему навстречу. Курашвили бросил взгляд на Дрока и не поверил своим глазам – Дрок, думая, что его никто не видит, смахнул слезу. Курашвили стало неловко, и он отвернулся.

Вяземский принял подарок, поставил на стол. Петриков открыл замочек и поднял крышку – внутри ящичка на ярком красном бархате лежал роскошный воронённый парабеллум. Офицеры склонились и в восхищении ахнули. Парабеллум был красавец.

– Примерьте, как он вам по руке, ваше высокоблагородие! – послышалось от струдившихся вахмистров и унтеров. – Примерьте, може, легковат он для вас будет?

Вяземский взял парабеллум и подержал, хотел поднять руку, чтобы прицелиться, но так плотно стоял народ, что целиться пришлось бы в когонибудь. У полковника перехватило в горле, но он справился и произнёс:

– Спасибо, братцы!

– А тама дощечка, на правой щёчке, гляньте, ваше высокоблагородие, Петриков нацарапал!

Вяземский повернул пистолет правой щечкой к свету и прочитал вслух:

– «Нашему дорогому командиру полковнику Вяземскому А. И. от драгун 22го драгунского Воскресенского полка. Стреляй, не промахнешься!»

– И вот ищо, господин полковник, – промолвил белыми от волнения губами Петриков. – Калибра он германского, не нашего, вам цинка патронов к нему полагается пятьсот штук и кобур, прям под вашу опояску.

Курашвили смотрел на Вяземского, тот стоял бледный. К нему подошёл отец Илларион и стал шептать на ухо, Вяземский кивнул.

– Подходи по одному, православные, подходи сюда, – обратился отец Илларион к вахмистрам и унтерам. – У кого чего имеется? Крышки от манёрок, что ли?

Унтера стали переглядываться, улыбаться и подкручивать усы, они полезли по карманам и вынули кто что. Ротмистр Дрок откупоривал бутылку, Курашвили увидел, что Дрок при этом с сожалением вздохнул, тут помог Клешня, он сдвинул разномастную унтерскую посуду на край стола и ровненько расставил одиннадцать лафитников. Вяземский наливал каждому сам, подошедшие кричали, пили не морщась, а выпив коньяк, с удивлением смотрели на опустевший лафитник, кланялись и отходили, напиток был для них непривычный, сладковатый и не от чего было кричать. Они ещё постояли, молчать становилось неловко, и тогда обратился ротмистр Дрок:

– С вашего позволения, господин полковник!

Вяземский кивнул, и наблюдавший всю эту сцену доктор Курашвили понял, что от волнения тому трудно говорить.

– Ну, православные, – обратился Дрок к пришедшим, – вы с честью, – голос Дрока был ласковый, но твёрдый, – и к вам с честью, только не дурите! Чтоб больше нини! Особенно кто в первых линиях! Всем вольно, разойтись!

Ужин был скомкан. После того как депутация унтеров вытолкалась из командирского блиндажа, Вяземский расстелил на столе карту боевого участка и пригласил офицеров к работе – нанесению происшедших за время его отсутствия изменений у противника. Тут Курашвили понял, что он не нужен, с облегчением выдохнул и вышел.

По ходам сообщений он пошёл в свой лазаретный блиндаж, выкопанный в тылу обороны полка. По дороге ему попадались нижние чины и унтерофицеры, они кланялись доктору, они считали его гражданским более чем военным, и поздравляли с наступающим «праздничком» Крещения Господня. Курашвили им кланялся в ответ и сам чувствовал себя гражданским более, чем военным. От этого успокоение приходило в душу, и он почувствовал приближение праздника.

Он видел, что свободные от службы драгуны готовятся. Было известно, что они с помощью отца Иллариона добились, чтобы им разрешили после крещенской торжественной службы устроить представление для господ офицеров и всех свободных от несения боевой службы. Это представление должно произойти уже завтра на старой вырубке в середине берёзовой рощи неподалёку от «Клешнёвой ресторации». Ещё душу Алексея Гивиевича грел спирт, заранее наведённый и выставленный на холод, и возможность не думать пока ни о чём обязательном, а в особенности о службе.

Блиндаж полкового лазарета тоже был большой с лежаками и выгородкой для медикаментов, доктора и дежурного санитаря. Вот сейчас он придёт, примет дежурство, отошлёт санитаря, и...

Шагов за десять он слышал ругань. Он подходил, ругань становилась всё громче, он спустился и увидел, что оставленный им санитар матерно кроет Четвертакова.

– В чём дело? – спросил Курашвили.

– Вот, ваше благородие, господин доктор, я говорю ему – лежи, а он, сукин сын, извиняюсь, всё не ложится ему... вот и допустил кровотечение...

– Ваше благородие, не верьте ему, напраслину он возводит, поносит меня трусом, што я сознательно допустил кровотечение, штоб не возвращаться на позицию, так он всё врёт!

Санитар и Четвертаков говорили одновременно и нетнет да и обогашали обращение друг к другу матерными словцами, никак не позволительными в присутствии офицера, а также в связи с кануном православного праздника.

Курашвили мог приказать прекратить спор, но он сделал подругому: он отпустил с дежурства санитаря, велел Четвертакову сесть на лежак, разбинтовал рану, осмотрел и оставил сохнуть. Рана нагнаивалась.

– Эх, – вздохнул Четвертаков, – щас бы полить её байкальской водичкой, вмиг бы затянулась!

Рана была не опасная, но очень неприятная, на голеностопном суставе, и Четвертакову нельзя было двигать ступнёй, а он двигал, поэтому санитар и ругался. А Четвертаков не мог не двигать, к завтрашнему представлению он подготовил номер, а готовил долгодолго, и ему было обидно, что из-за какойто ерунды его приготовления пойдут насмарку.

Курашвили же видел, что рана превращается в незаживающую трофическую язву из-за сырости.

– Тебя, Четвертаков, надо отправлять в тыл, в госпиталь, а то лишишься ноги! – задумчиво произнёс он.

– Што вы, дохтар, из-за такойто чепухи...

– Молчать, Четвертаков! – Доктор сам не заметил, как из сугубо гражданского он вновь обратился в полкового военного хирурга Действующей армии. – Поговори мне ещё!

– Не поеду! – промолвил Четвертаков, и Курашвили поднял на него глаза. Четвертаков смотрел на доктора так, что у того похолодело между лопатками – Четвертаков смотрел на доктора как на врага. Это был взгляд человека, полтора года убивающего людей, и этот взгляд был хорошо знаком доктору, на это он уже нагляделся.

Доктор всё понял.

– Ладно, оставайся, только тебе придётся лежать вот так, без перевязки... где же сейчас искать твой чёртов Байкал с «водичкой»?

Кроме Четвертакова в лазаретном блиндаже лежали ещё пятеро легкораненых, они с любопытством и даже азартом следили сначала за руганью вахмистра и санитаря, а сейчас увидели, что представление кончилось, и стали ворочаться на своих лежаках и устраиваться ко сну.

– Я ить, дохтар, к завтраму всё приготовил, как же я ббсымто буду представлять?

– Чего представлять, что ты несёшь? – Курашвили начал злиться уже поокопному, а как же ещё, если к тебе относятся, как к врагу?

– Как чего? Я завтра... эта... у меня цельное представление, што же я... зазря, што ли?

Курашвили, как и все, знал о приготовлениях, а драгуны репетировали: они плясали вприсядку и пели, кто-то декламировал вирши, кто-то нарезал из березы свистульки. Драгуны, свободные от службы в первых линиях, уходили в тыл, в лес, в березняк и насвистывались и наплясывались там до одурения. Унтера старались особо не обращать внимания, а между собою шептались, что мастер на все руки кузнец №1 эскадрона Петриков будет играть на дву-

ручной пиле. Что собирался представлять Четвертаков, Курашвили не знал, он посмотрел на вахмистра и ушёл за выгородку. Четвертаков набычился.

«Чёрт долговязый, оглобля! – думал Четвертаков про доктора. – Подумаешь! Чё я, крови испугался? Не видал, чё ли?»

Ему было обидно. Вообще, после того, как он вернулся из отпуска, всё стало другое. Не хуже, не лучше, но другое. Письмо от отца Василия догнало его на следующий день по прибытии в полк во второй половине ноября. Письмо отдал отец Илларион уже распечатанное, но это была военная цензура, то есть всё правильно, всё по закону. Отец Илларион не стал ничего ни говорить, ни спрашивать. Кешка прочитал и долго не мог сообразить, а что теперь со всем этим делать, и решил, что ничего он с этим не будет делать. Полк еще маневрировал, и особо не было времени думать, но прошло две недели, и командование определило полку расположение.

Хуже некуда.

Лили осенние дожди, полк поставили на южной окраине огромного, окружённого со всех сторон лесом, уходящего на север болота. Вода поднялась, залила округу, добралась до края леса и выровняла поверхность, и если в безветренную погоду присесть на корточки, пригнуть голову и долго смотреть вдаль, то вода была без края, ровная, только редко стояли бы тонкие лесины, кусты, пучками трава и неестественные, маленькие, кривые, будто богом отвергнутые, а дьяволом изуродованные, но посвоему красивые балтийские сосны.

Четвертаков таких никогда не видел.

И именно тут надо было рыть окопы, а ещё умудриться не попасть под германские обстрелы. Поэтому днём драгуны уходили в лес на юге и на востоке, а ночью таскали бревна, пилили на доски и по окрестным имениям и фольваркам охотились наперегонки с соседями, кто чего больше натащит, из того, что могло пригодиться для жизни в траншее. И поменялось решительно всё: раньше драгуны мечтали остановиться, слезть с лошади и хотя бы ненадолго припасть к земле, а сейчас мечтали вскочить на лошадь и ускакать куда глаза глядят. Они мучились, но дожди прекратились, вода стала уходить, более-менее пошло рытье на границе леса и болота, копали, ждали, когда дно траншеи высохнет, и копали дальше. Так постепенно образовалась целая линия, три линии и ходы сообщений между ними, землянки, блиндажи, отхожие места. Германец стоял и только иногда кидал бомбы или пролетал низко на аэропланах, и по нему сначала палили из винтовок, а потом перестали. Потом подвели мотки колючей проволоки, и вышло, что первая линия получилась слишком близко к коренному берегу болота, копать бросили, оставили для передового охранения и стали валить засеки и опутывать «колючкой». Постепенно появилось очертание стояния полка. Когда в конце ноября – начале декабря ночами подмораживало, а на самом деле подсушивало землю, пошли разведки, и выяснилось, что германцы делают то же самое и находятся в таких же точно условиях, в пяти верстах, где ближе, где дальше, а где совсем рядом. Паёк оскудел, одна каша приелась так, что драгуны стали сходить с лица и мёрзнуть до дрожи в пальцах и слабости в коленях. Это уже была не война, а каторга, бессудная и бессрочная. И затосковали. И пошли изыскания и хитрости в поисках чего-нибудь выпить. И тогда командующий 12й армией генерал Горбатовский отдал приказ, что будет наказывать не нижних чинов за самоволки и пьянку, а офицеров. А Кешке, совсем недавно вернувшемуся из отпуска, пришла лафа – ему разрешили охотиться: как только выпадал отдых, к нему прикомандировывали по тричетыре драгуна из разных эскадронов, чтобы не скучали, и они уходили на добычу. В котлах появилось мясо, драгуны кидали на пальцах, кто пойдет с Иннокентием раз в неделю, самое редкое раз в десять дней, и както всё успокоилось. Тут отец Илларион развёл свою деятельность и объявил, что может с желающими заниматься грамотой, и снова кидали на пальцах, кто пойдет на очередное занятие. В декабре появилась новая забава – у всех частей 12й армии стали забирать русские трёхлинейки и вместо них выдавали старые японские ружья, кавалеристов это не коснулось, но несколько ружей

попали в полк, и отец Илларион с негодованием признал в них арисаку, которыми японцы воевали против русских в Русскояпонскую войну. Кешка одну даже пристрелял, хотя на целике были нацарапаны непонятные завитушки, крючки и палочки. Отец Илларион их както назвал, но так мудрёно, что никто даже не попытался запомнить. Благо было то, что обессиленные в прошедших боях эскадроны стали пополняться, и при этом в строй возвращался старый кадр, выжившие, прошедшие лечение раненые. Вяземский велел сделать учебную команду и поставил на неё Кудринского, а Кудринский бывало, что звал поучить пополнение Четвертакова. Жизнь стала веселее. Только немец бомбил, а русские пушки помалкивали, снарядов ещё было мало. Не сидел так же без дела и Петриков, он хотел переделать мадсена для стрельбы по аэропланам, но Кешка ему не отдал, тогда Петриков приспособил максима. Пулемётов прибавилось, завели пулемётную команду. Плохо было то, что Красотка стала дичиться, она забывала Кешку. Однако это было понятно, потому что коновязь полка за ненадобностью отвели в тыл за три версты.

Кешка бил косуль, оленя, мясо шло в котел, шкуры на распялку, соли по фольваркам было много, в полку нашлись умельцы и шкуры приспособивали под разные нужды. Но к Рождеству драгуны снова заскучали, всем стало невтерпёж домой, к бабам, к детям, и снова завелась пьянка: «Воевалибыло, били, тока немца не доби́ли!» И вдруг вспомнилось старое – колядки! Пошли к отцу Иллариону, батюшка подумалподумал и пообещал замолвить слово перед командиром и выправилтаки разрешение, но Рождество к тому времени прошло, тогда решили устроить представление на Крещение Господне.

– Потому я, ваше благородие, господин дохтар, завтра должен представлять борьбу бурятских мальчиков, это я вам по секрету докладáю...

Доктор понял, что спорить бесполезно, что Тайга упёрся.

– Чёрт с тобой, Четвертаков. Только до утра постарайся не шевелиться, пускай рана твоя подсыхает. Утром будет видно, что ты будешь представлять... – Курашвили хотел добавить «из себя», но не стал, он подумал, что вахмистр Четвертаков по кличке Тайга не поймет его в силу, ну, хотя бы своего сибирского упрямства.

«Какихто бурятских мальчиков... чёртте что!» – подумал доктор и ушёл в выгородку.

II

В штабном блиндаже офицеры заканчивали работу.

– И вот тут германец поставил два пулемёта... – ротмистр Дрок показал, где разведка обнаружила неприятельские огневые точки.

– Дистанция и сектор обстрела? – задал вопрос Вяземский.

– Полторы версты... сектор обстрела... – Дрок наметил ориентиры и провёл дугу. – Как раз против нашего правого фланга.

– Местность? – спрашивал Вяземский и делал записи в блокноте. – Записка для штаба армии готова?

Щербаков протянул записку.

– Читайте, – попросил Вяземский. – Там, где про местность.

– «Два обширных болота между двумя озёрами, на севере озеро Кангер, между Рижским заливом и левым берегом реки Аа, она же Кур, и на правом берегу Аа озеро Бабит...», – читал Щербаков и показывал на схеме. – «Между болотами проходит железная дорога Рига – Тукум...», дальше на Виндаву. Болото, на берегу которого мы стоим, – Щербаков посмотрел на командира, – Тирельское...

– Местные называют «Тырульское», – заметил фон Мекк.

– «...около пяти вёрст с севера на юг и три с половиною с запада на восток. По краям лес смешанный с преобладанием сосны, в лесу несколько старых просек...», вот и вот, – показал он на схеме, – они уже заросли подлеском и стали почти непроходимые, – Дрок и фон Мекк слушали и одновременно сравнивали записку и схему, – «...и узкие проселочные дороги», собственно, одна дорога, вдоль ручья. «Ручей вытекает из болота на юг и через восемь вёрст впадает в реку Аа, почва песчаная...»

– На границе болота и леса заросшие подлеском бугры, – добавил фон Мекк к сказанному Щербаковым. – Здесь их называют дюны...

– «...высота дюн, – продолжал Щербаков, – до двух саженей...», это как раз между первой и второй линиями, здесь мы поставили дополнительные аванпосты и наблюдательные пункты. Само болото, Тирельское, сейчас непроходимое, всё растаяло.

– Хорошо! – Вяземский кивнул Щербакову и обратился к фон Мекку: – А если мороз?

– Тогда проходимое.

– Пешком или на санях, – добавил Дрок.

Вяземский записал и посмотрел на фон Мекка.

– Против нас стоит пятьдесят седьмой ландштурменный полк из группы генерала Винкена, в частности, наш левый фланг почти соприкасается с их четырнадцатой и шестнадцатой ротами четвёртого батальона. На расстоянии до ста шагов от их первой линии установлены проволочные заграждения на глубоко врытых колах, гдето в два, гдето в три ряда, между рядами по тридцати-сорока шагов, работают, ставят колы и наматывают проволоку ночью...

– А что наша артиллерия?

– Сейчас, Аркадий Иванович, происходит смена, как только новый дивизион встанет на позиции, мы отправим им все сведения.

– А их артиллерия?

Фон Мекк положил перед полковником рапортчку со схемой.

– Более подробно доложит поручик Кудринский, он лично ходил.

Вяземский посмотрел на поручика, тот покраснел.

«Вот Сосунок, – невольно подумал Вяземский, и его взгляд потеплел. – Уже орёл, а ещё краснеет! Как же солдатское прозвище соответствует человеку, надо же!»

Поручик Кудринский с Четвертаковым и командой охотников ходил в разведку на глубину пять вёрст и обнаружил две батареи тяжёлых гаубиц.

– Сколько ушло на разведку?

– Туда и обратно трое суток, Аркадий Иванович!

– Прошли тихо?

– Да, только на выходе, на проволоке германец открыл огонь...

– Когда резали проволоку?..

– Да, но не в этом причина, Аркадий Иванович, просто шла стая косуль...

– И?..

– Четвертакову попало в ногу, не сильно.

– Хорошо, что не сильно.

После Кудринского штабсротмистр Рейнгардт доложил о результатах своего похода:

– Мы с их левого фланга, недалеко от корчмы Шмарден, это вот здесь, – показал он на схеме, – обошли их тыл, вот сюда, на правый... прошли на стыке двух батальонов.

– Это как ходил Кудринский?

– Почти.

– И что?

– Они накапливают пехоту, эти самые два батальона, они только только начали подтягиваться, и тут не так много воды...

– И? – Вяземский посмотрел на офицеров.

– Рубят и пилят лес...

– Гати?

– Возможно!..

– А может быть, ждут заморозков? – высказался Дрок. – Всё же народная примета! Крещение!

– Может, и ждут, – ответил Рейнгардт. – До только лес рубят и, – он подчеркнул, – *пилят*, и явно не для блиндажей, на блиндажи идёт кругляк, бревно. Зачемто же они его не только рубят, но и пилят?

– Лес рубят, щепки летят, – задумчиво произнёс фон Мекк, – а когда пилят, опилки получаются. А народные приметы, Евгений Ильич, в этом климате другие, вспомните Крещение прошлого года...

– Так то была Польша! – Дрок набычился, в нём заговорил забияка.

– Не вижу разницы, что тут, что в Польше балтийский климат, одинаковый, Курляндия, одним словом, я же отсюда родом, с детства помню! Мы и санок-то не знали!

– Саночки, саночки, жили мы у бабушки! – ухмыльнулся Дрок.

– Тогда уж «у панночки», – подначил его фон Мекк.

– А кто у нас справа? – остановил всех вопросом Вяземский.

– Справа, как и был, атаман Пунин.

– Поручик Пунин.

– Это который партизан...

– Да, эдакий современный Денис Давыдов...

– И как?

– Никак, Аркадий Иванович, на флангах соприкасаемся, они ведут разведки по фронту и на флангах, так же как и мы, делить нечего, а народ они отважный и опытный...

– Три эскадрона, артиллерийская команда и половина личного состава георгиевские кавалеры...

– Ладно, господа! – Вяземский оглядел подчиненных, все затихли, а Дрок поджал губы. – Давайте подведём итоги!

Четвертаков лёг на спину и почувствовал, что разбинтованная голая нога мёрзнет. «Угораздило доктора припереться... с санитаром я бы и так совладал, – подумал он и подумал ещё: – И меня угораздило!»

Он резал проволоку, ножницы были хорошие, новые. Группа охотников поручика Кудринского уходила на разведку на одном участке, возвращалась на другом. Разрезали бесшумно, но недалеко вдоль проволоки по открытому месту шли стаей косули, их на снегу было видно, и германец пальнул из пулемёта, скорее всего, по косулям, а попал Кешке в сапог. Косули унеслись, германец промазал, потому что, когда животные убежали, на снегу ничего не осталось. Это было хорошо, если бы германец попал, то полезли бы забирать, и тогда одним легкораненым Кешкой не обошлось бы. Однако обошлось.

Кешка ещё полежал, подумал, но решил, что утро вечера мудреней, повернулся на бок и постарался заснуть, проскочила мысль, что надо было напроситься в помощники к Клеши-ресторатору, там сухо, но уже было поздно, и снова подошёл доктор со свечой в одной руке и склянкой и щипцами в другой.

Курашвили оставил лежать Четвертакова с голой ногой, потом вернулся и обработал рану йодом. Не шелохнувшись на боку Четвертакову было больно, но он держал фасон и только стиснул зубы. Курашвили увидел это и подумал, что, если что, жаль будет резать ногу, а поэтому хрен ему завтра, а не представление.

Он зашёл в свой закуток, оттуда шумнул на шептавшихся раненых и вспомнил, что за суетой забыл главное – из снега горлышком торчит фляжка с уже разведённым спиртом прямо у входа в блиндаж, надо выходить. И он вышел.

Фляжка чернела на белом снегу, и никто не покусился. А Курашвили и уверен был, что никто не покусится, это ведь лазарет.

Драгуны к лазарету и лазаретному делу относились почтительно и со страхом. Одни, проходя мимо, крестились, другие сплёвывали через левое плечо, третьи, которые постарше, и крестились, и сплёвывали. Они знали, что пока ты не в лазарете, значит, живой и лазарет тебе ещё не нужен, или мёртвый, и тогда лазарет тебе уже не нужен. А если в лазарете, то... ладно, когда в мякоть да навыйлет... Все боялись остаться без ноги или без руки, а ещё боялись без... Говорить об этом было срамно, но попадания туда, куда все боялись, были такие же частые, как и во всё остальное, но этого боялись больше всего, в особенности которые бездетные. С такими ранениями просили доктора дать «порошку», чтобы уже не возвращаться в деревню и никому ничего не объяснять. И тогда до отправки в тыл Курашвили таких подпаивал спиртом, поэтому спирт у него всегда был. Для этого он даже не просил тех, кто идёт в разведку, мол, попадётся у германца спирт, захвати. Это понимали, потому что гарантий не оказаться в лазарете ни у кого не было, и сами несли.

Курашвили, проходя мимо раненых, одному буркнул:

– Будешь ещё болтать!.. – и не договорил, потому что что он ещё мог в наказание сделать и так уже раненому.

Доктор давно перестал общаться на «вы» с серой массой нижних чинов. Да и смешно это было, особенно поначалу, мол, вы...

Както он резал одного драгуна, вырезал осколок из живота и всё приговаривал ему: «Вы потерпите, любезный, вы потерпите...» А тот на двадцать второй минуте операции помер, и Курашвили тогда явилась мысль, что, мол, сейчас душа умершего, вот она, стоит перед апостолом Петром, и апостол спрашивает: «Вы, любезный нижний чин Засеряйко, перед смертью не грешили ли, не совершили ли семи смертных грехов?» «Или „вы“ – Гавнильский, или „вы“ – Мудяков...» И после этих слов отправляет в рай к Богу, а тот с ними тоже на «вы»! Однако смешнее всего было доктору подумать о том, как бы с этим Засеряйко, Гавнильским или Мудяковым на «вы» разговаривали черти в аду. И «вы» из обращения Курашвили с ниж-

ними чинами навсегда ушло. Он иногда ещё путался с земляком Александром Павлиновым, Клешнёй, то на «вы», то на «ты», и от этого сердился, что не может принять какого-то одного решения.

Он взял флягу, смахнул с неё снег и талую воду и вернулся в загородку, скинул шинель, китель, брюки и остался в белье, шёлковом. Он зажёл на полочке три стеариновых свечи, лег на топчан, застеленный матрасом, набитым соломой, натянул под подбородок шинель и крикнул:

– Эй, кто там ещё не спит, подбросьте дров!

Услышал, как кто-то зашевелился и шум: печки, дров...

Курашвили взял томик Чехова, открыл и, как это уже стало обычным, сразу уткнулся взглядом в экслибрис на развороте. В красивом вензеле значилось «СВ».

Он уже почти год пытался разобраться, кто же этот «СВ», что передал книгу в руки покойнице Татьяне Ивановне. «С» вроде может быть «Сиротин»! Брат? Дядька? Или просто фамилия на «С»? А может, это имя на «С», а фамилия на «В». Курашвили очень осторожно спросил Рейнгардта, имелись ли у Татьяны Ивановны братья или сестры по имени на «В», но тот пожал плечами и не ответил. Тогда кто? И капля крови на обложке...

Алексей Гивиевич закрыл книгу, немного подумал и положил на живот, он хотел снова прикрикнуть на раненых, чтобы те не шептались и угомонились, наконец. Но не прикрикнул, что он им, начальник, что ли? Так у них начальников от младшего унтера и до государя императора, не много ли? А выше кто? А выше Бог! И он, Курашвили, им Бог! Кто им отрезает смерть и пришивает жизнь? Эта мысль рассмешила доктора и успокоила. И он вспомнил, как было смешно несколько недель назад в Риге.

Три недели назад Рига уже отпраздновала Рождество, рижане были лютеране и католики, и жили, и праздновали по своему григорианскому календарю.

В публичных домах – немногих сохранившихся по военному времени – в связи с каникулами было пусто. Доктора вызвался сопроводить и отрекомендовать коллега из гарнизонного госпиталя, Петр Петрович, говорун и стихоплётчик, и они пошли в старый город, и коллега-доктор всё рассказывал Курашвили какие-то смешные истории и сам смеялся. Курашвили тоже смеялся, потому что давно ни с кем не разговаривал из своих. Они прихватили с собою спирту, сдобренного чем-то коричневым с запахом шоколада, наплевали на патрулей, стоявших во фронтовом городе на каждом углу, а выпили ещё до начала похода.

– Самое главное, что я вам хочу сказать, Алексей Гивиевич, девочки тут чистенькие, а уж какие воспитанные, не то что в Москве или в моей Твери... Европа!

– А?... – хотел спросить Курашвили, но коллега его перебил:

– А про национальность тут не принято спрашивать! Считается дурным тоном, и имена у них все придуманные, всё больше Агнессы или Мариэтты! Попадаются Козетты! Это если заведение на французский манер... И почти все блондинки! Так что для вас, коллега, вы же брюнет, полное раздолье...

Курашвили действительно был брюнет, когда не брил голову.

– А если?..

– А всякие «если» тут уже сошли на нет, коллега! Главное дело, чтобы цены не подняли. Но если что, рассчитаемся спиртом, у меня запас! Сейчас спирт в Риге вместо золота, потому что золото... – и коллега придержал ненужное ему пенсне с простыми стёклами и зашёлся от смеха, – и не ковано и не молото! А спирт... – он задумался, чем бы закончить столь удачно начатое, как ему казалось, буриме, – да глотнуть полведра – будешь сыт! А? – Он посмотрел на Курашвили. – Помоему, неплохо!

– А на каком языке с ними разговаривать? – спросил Курашвили.

– Языке? – Коллега так удивился, что даже снизу вверх посмотрел на длинного Курашвили, на секунду задумался и тут же взорвался смехом. – А на языке любви!

Курашвили улыбнулся, коллега был понастоящему весёлый человек, и стал оглядываться – они вошли в кварталы старого города.

Рига сразу представилась Курашвили очень красивой, ещё когда он в неё въехал по мосту через Западную Двину, местные её называют Даугава. И сразу оказался на Ратушной площади и залюбовался. Вот это был понастоящему европейский город, как другие европейские города, где он бывал и видал на многочисленных открытках, продававшихся в Москве во всех книжных лавках и магазинах – готически стрельчатая Ратушная площадь, окружённая вплотную стоящими друг к другу двух-трёхэтажными домами с высокими черепичными крышами, стрельчатыми наличниками на окнах, стрельчатыми окнами, и вообще всем стрельчатым, устремлённым вверх.

Они вышли на площадь Домского собора, оставили его по левую руку и пошли прямо, потом два раза направо-налево поворачивали в узких улицах, и коллега указал:

– А вот эти три дома местные называют «Три брата», посмотрите, какие они, как родственники, правда? И в то же время друг на друга не похожи.

Дома были примечательные, Курашвили остановился полюбопытствовать, но коллега потянул его за рукав:

– Не задерживайте процесс, Алексей Гивиевич, завтра поутру они вам покажутся ещё краше!

Всё в старом городе казалось Курашвили какимто спокойным, уютным и умиротворённым. Рига совсем не была похожа на Москву, хотя бы тем, что кругом ходили жители, но так, как будто бы их вовсе и не было. Курашвили перестал слышать весёлую болтовню коллеги и только оглядывался, когда тот вдруг сказал:

– Пришли!

Они вошли в тёмную подворотню, оказались в закрытом со всех сторон, заросшем плющом глухом дворе с единственной дверью и свисающей ручкой звонка. А дальше...

Доктор вздохнул, откинул шинель, сел, снял нагар со ставшей коптиль свечи, глотнул из фляжки и лёг.

А дальше было сначала страшно, потом странно, а потом замечательно.

В холле их встретила мадам, они о чёмто пошептались с коллегой, коллега подошёл к Курашвили и шепотом сказал, что девочек в связи с каникулами мало, но для него, Курашвили, есть, как по заказу, а у коллеги тут давно пассия. Мадам говорила порусски с интересным акцентом, это была стройная женщина в годах, с высокой причёской, ухоженная, с приятными манерами, она попросила их подняться во второй этаж в номера шестнадцатый и одиннадцатый.

– Вам в шестнадцатый, – сказал коллега, – её зовут как раз Агнесса. Вам повезло! И, главное, никуда не торопитесь, я рассчитался до самого утра!

Коллега был у Курашвили замечательный, не только весёлый. Он был весёлый, когда выпивал, понемногу, но часто. Курашвили приехал в госпиталь позавчера и сразу попал к главному хирургу, коим и был коллега. Тот с порога предложил выпить, Курашвили стало неловко отказываться, и пошёл разговор про войну, про Двор, про глупое начальство, пошёл кураж. Алексей Гивиевич поначалу даже испугался. Потом коллега повёл его осматривать раненых и палаты, назавтра пригласил ассистировать на операции, и после они снова выпили. Курашвили переночевал в ординаторской, с утра его позвали в операционную, и он увидел, что у коллеги золотые руки и ничего от похмелья, вчерашнего куража и опасного разговора. Точнее, кураж был, но уже хирургический. Операцию тот провёл блестяще, с самого начала и до самого конца: разрезал, извлёк очень сложный осколок, этот осколок побоялись трогать в полевом лазарете. Раненым был молодой поручик.

– Представляете, этого поручика по фамилии Штин везли аж из 3-й армии, от самого Минска, боялись, что не доvezут, но молодцы, доvezли...

И сам закончил операцию, и сам зашил, потом сказал:

– Сам шью, нельзя терять навык!

В итоге получилось так, что Курашвили было нечему ассистировать, но мастерства он насмотрелся. А как только коллега закончил операцию, то сразу и выпил.

В тот день Курашвили узнал, что самые сложные операции он делает сам, и раненые стремятся к нему, у него было мало смертей... У доктора затекла спина на жёстком матрасе, он глотнул ещё. Ему стал мешать свет, и он заслюнявил пальцами свечи. Раненые похрапывали и посапывали, сначала отвлекали, Курашвили ещё глотнул и повернулся на бок лицом к зашитой досками стенке...

Когда он постучал в дверь шестнадцатого номера, ему никто не ответил, и он стоял в нерешительности. Коллега уже зашёл в свой одиннадцатый, но через секунду выглянул и улыбнулся:

– Толкайте дверь, у Агнессы не заперто.

Курашвили толкнул дверь и переступил порог. В большой комнате было почти темно, слева спинкой к стене стояла широкая кровать с блестящими стальными шарами и рядом светила лампа на прикроватной тумбочке. Стены были затянуты шёлковыми оранжевыми обоями с вертикальными красными полосами и большими яркими цветами, оранжевыми на красном и красными на оранжевом. Не было шика, но было уютно от приглушённого света и ярких обоев. На кровати под шёлковым одеялом лежала молодая женщина с рыжими медными волосами по подушке, голыми плечами и голыми руками. Она посмотрела на Курашвили, отложила книгу, она её только что читала, и сняла очки.

– Входи, милый, входи! – сказала она и осталась лежать и смотреть, как Курашвили снимает шинель, расстёгивает китель...

Потом в какойто момент она села и сказала:

– Иди, милый, ко мне, дальше я сама. Меня зовут Агнесса.

Стало страшно, Агнесса видела стеснение гостя, но показала, что это лишнее, раздела его и уложила.

А потом было странно – со всеми желаниями доктора Курашвили Агнесса расправилась быстро и с улыбкой промолвила:

– Это вы все такие, которые с фронта, стремительные, но это ничего!

А вот дальше...

В одном белье и с блондинкой за талию, без стука вдруг ворвался коллега.

– Ну что, коллега? Как вы тут?

Курашвили хотел его выставить, но блондинка смеялась так заразительно, а коллега хохотал... Агнесса заметила нервное движение Курашвили и удержала его за локоть.

– Ничего! Они нам нисколько не помешают! – сказала она и с улыбкой стала наблюдать за тем, что вытворяет коллега, а тот стал представлять. Его блондинка, Козетта, буквально на секунду выскочила из комнаты и тут же вернулась; в её руках было огромное покрывало, и коллега стал в него заворачиваться и представлял себя то Гамлетом, то лордом Байроном, то Наполеоном. Всё какимито важными персонами он себя представлял, и иногда это было смешно. Курашвили успокоился и понял, что вот оно, настоящее весёлое времяпрепровождение. Значит, так и должно быть! А почему нет? Война далеко! На самом деле война была близко, и погромыхивало, германец стоял в трёх десятках верст, но здесь... как же она была далеко!

А блондинка неглиже подливала всем разведённый спирт с привкусом шоколада, и все выпивали, и смотрели представление, и смеялись, и блондинка приговаривала с акцентом: «Аллкохолль!»

Потом коллега стал декламировать, скорее всего своё, – экспромты, – потом вроде выдохся, уселся в кресло и закрыл глаза. Курашвили подумал, что представление кончилось,

но Козетта замерла в ожидании, это было видно по тому, как она затихла и смотрела на visavis, а visavis стал медленно открывать глаза, увидел на стене часы и сощурился.

– И открытыми и закрытыми я гляжу на стрелки часов, представляется всё умозрительным... – Коллега поводит глазами по комнате, остановился на Козетте и закончил: – Когда сущность... – и он подмигнул Курашвили, – уже без трусов! Это у них, коллега, новомодное бельё такое, были панталоны с обёрочками, запутаешься, а сейчас трусы!

Козетта прыснула, но тут же изобразила из себя скромницу, она обнесла всех спиртом со вкусом шоколада, коллега поднялся, запахнулся полотнищем, стал похож на майора с картины Федотова «Сватовство майора», и с Козеттой под ручку они чинно вышли из комнаты Агнессы...

Доктор поёжился от колючего воротника шинели под подбородком, он видел эту картинку, будто бы ещё находился там...

А с Агнессой в итоге всё получилось замечательно.

Ах! Агнесса!

Только утром Курашвили разбудил не поцелуй Агнессы, как ему представлялось, когда они засыпали, а перегар уже одетого в шинель и фуражку коллеги, который склонился над ним и продекламировал:

– Полумесяц – полулуна! Полупесня – полуволна! Полутанцует – полупоёт! Только солнце полным встает! Колле-га! Пора! У нас ещё сегодня коллоквиум по пулевым ранениям в суставы!..

Вот такие каникулы, прошедшие будто бы только вчера.

Доктор вздохнул и повернулся на спину. В голове была картинка таких неожиданных рижских каникул: «Трусы и солнце», он их так назвал для памяти. Он поднялся. В полной темноте за стенкой храпели драгуны. Он встал на колени и начал молиться, чтобы покойница Татьяна Ивановна простила ему его грехи. Он уже и не помнил, когда в последний раз молился, наверное, до войны.

В госпитале он спросил, как состояние того поручика, Штина что ли, того, что со сложным ранением.

– А, поручика? – Коллега посмотрел на Курашвили чистыми глазами сквозь ненужное пенсне. – Как вы себя чувствуете после вчерашнего? Помните? «Три девицы в уголках мелко пряли на лобках!» – И коллега запустил пальцы в редкую бородку. – Состояние? А что состояние? Состояние как состояние! Будет жить! Раз Бог даровал жизнь – значит, будет жить!

«Две девицы! Две!» – подумал в ответ Курашвили и понял, что, если после такого ранения поручик Штин выжил, значит, есть боги и на земле.

III

Четвертаков проснулся от нарастающего странного звука, он было кинулся вставать, но из-за перегородки появился доктор и сразу направился к нему.

– Нус! Показывай, чего тут у тебя за ночь... – начал доктор, но не договорил, потому что над четырьмя накатами лазаретного блиндажа пролетел аэроплан, грохоча мотором так, что захотелось закрыть уши. Доктор на секунду замер, Иннокентий глянул по сторонам, остальные раненые приподнялись на лежаках раскрыв рты. Доктор подумал: «Неужели раздуло туман?» – и пошёл наверх. Через секунду он вернулся, держа в руках листок бумаги.

Он ушёл за перегородку, и Иннокентий остался лежать и ждать.

Доктор появился сосредоточенный, уже без листка, и принялся осматривать ногу Четвертакова. Шум аэроплана опять нарастал и приходил ещё два раза, но доктор уже не обращал на это внимания.

– Так! – Доктор наклонился, и Иннокентий почувствовал, что тот щупает ногу как раз в том месте, где была рана, но странно, не было боли. Это показалось Иннокентию плохим предзнаменованием.

– Чё тама, доhtar?

Курашвили распрямылся, сложил руки на груди и долго молчал. Рана превратилась в язву: у язвы округлились края и напухли, стали розовые, и внутри был гной – вполне себе состоявшаяся и оформившаяся трофическая язва. Ничего в этом особо страшного не было, если бы не место и не сырость.

– Чё тама, доhtar? – ещё раз спросил Иннокентий.

– Ничего хорошего, Четвертаков, – ответил доктор Курашвили. – Придётся тебя отправлять в госпиталь.

Иннокентий тяжело вздохнул, это была самая плохая новость, которую довелось ему услышать за последнее время.

– А без этого никак нельзя? – спросил он, ожидая, что вот сейчас доктор взорвётся и примется на него кричать и ругаться, но доктор спокойно ответил:

– А без этого никак нельзя! Без этого тебе чеез несколько дней пьидётся отъезать ногу.

– А чё тама, доhtar, я не дотянусь, мне не видать!

– А чего тебе надо «видать»? У тебя там тьяфическая язва, если тебе это о чёмто говоит? «Говоит», черт картавый! – подумал про доктора Четвертаков. – А самто намекает, что я малограмотный, гиря лысая, верста коломенская! А я ить и правда малограмотный! Но это ничего, это мы ещё поглядим, кто кого!»

– А ты, доhtar, ты када пальцем тыкал, я ничё не чуял! – Иннокентий намеренно назвал доктора на «ты», хотел его разозлить, и у него это получилось, лицо Курашвили налилось краской, но Иннокентий на этом не успокоился: – Ты, доhtar, отрежь её!

– Кого отъезать? Ногу? – с угрозой стал говорить доктор.

– Кого ногу резать? Ногу нельзя! А эту, язву, химическую, или как её?

– Тьяфическую! – автоматически поправил доктор.

– Тебе, доhtar, виднее, какая она там, химическая или трахическая, а только ты мне её вырежи, а ногу оставь! – Кешка повернулся так, что теперь смотрел доктору в глаза, и увидел, что доктор опять стоит спокойный.

– А выдейжишь? – вдруг спросил его Курашвили.

– Чё выдержжишь? – Четвертаков намеренно «ррыкнул», снова увидел спокойствие доктора и понял, что вот допросился, и он даже испугался, но не подал виду. – Што выдержать-то надо, доhtar?

– Больно будет! – ответил доктор, и Кешка узрел, что в глазах доктора блеснула усмешка.

«Ах, ты ещё насмехаешься?» – мелькнуло у него в голове, и он твёрдо сказал:

– Режь, выдержи! Твоё дело резать, а моё терпеть, так уж у нас повелось!

Он оглядел своих раненых товарищей и подмигнул, а Курашвили им скомандовал:

– Поднимайтесь, господа раненные, будете его де-ъжать, этого смельчака, за у-уки и за ноги.

Когда Четвертаков пришёл в себя, доктор закончил операцию. Иннокентий не потерял сознания, но от боли у него в голове помутилось, и он перестал что-то чувствовать. У Иннокентия онемели руки и другая нога, здоровая, так на неё навалились его раненые товарищи; ещё болели скулы от напряжения, и он еле-еле языком вытолкнул изо рта сложенный в несколько раз сыромятный ремень. Доктор Курашвили собрал инструменты и послал за санитаром, на Четвертакова даже не посмотрел, ушёл за перегородку и вернулся без халата, уже в шинели.

– Всё, Четвертаков, лежи и моли Бога, чтобы всё для тебя обошлось. Завтра я посмотрю, но пьедупьеждаю, что, если что-то пойдёт не так, отпьявлю в Йигу, понял?

Тут Иннокентию уже ничего не оставалось, и он кивнул, нашёл силы, а его товарищи стали собираться на представление.

Алексей Гивиевич поднялся наверх и стал ждать санитаров у входа в лазарет, тот должен был прийти и заняться приведением инструментов в порядок, прокипятить и сделать всё необходимое после операции. Доктор полез в карман за папиросами и наткнулся на листок, который поднял, когда над позициями летал германский аэроплан.

Когда неприятельская машина появилась над расположением полка, она вызвала большой переполох. Туман только немного поднялся от земли, и никто не ждал появления аэроплана с какой бы то ни было стороны, но, видно, среди германских лётчиков были отважные и опытные, и тот, кто прилетел, оказался из их числа. Он летел над самой землёй в чистом и прозрачном тонком слое воздуха под низкими тучами. Все подумали про бомбы и начали палить, а германский лётчик бросил листовки. Это увидели, увидели его руку, которой он размахивал, и пачки листовок, они сначала как бы взрывались, потом плавно кружились и опускались на землю. Как только драгуны поняли, что это не бомбы, кто-то закричал: «Хорош палить, германец замириться хочет!» Они опустили винтовки и заворожённо смотрели, как, качаясь, медленно парят белые листки, и бросились их хватать. Написано было на русском языке, просто, что германский солдат поздравляет русского солдата с Крещением Господним и сегодня не будет стрелять. Драгуны показывали друг другу, улыбались, обменивались табаком и говорили, что теперь можно идти с позиций в рощу чуть ли не всем полком и смотреть праздничное представление. Офицеры сказали, что этого нельзя, что на представление пойдут только свободные от службы на передовых позициях и аванпостах, но драгуны сомневались, и нашлись горячие головы, которые стали утверждать, что это конец войне, и германец желает замириться, а русским не за что воевать на чужой земле. Но дисциплина в полку была строгая, и только четыре эскадрона: №1, №2, №4 и №6 и часть обоза пошли по ходам сообщений на юго-восток в березняк. Они, многие из них, шли мимо доктора, Курашвили смотрел, они ему кланялись, и вдруг Курашвили понял, что и Четвертаков сорвётся туда же.

«Ну и хрен с ним! – подумал доктор. – Если будет хуже, отправлю его в госпиталь, к чертям собачьим, дольше проживет! – Он на секунду задумался. – Вообще-то уже не должно быть заражения, ведь почти до самой кости вычистил!» Он улыбнулся и пошёл по ходу сообщений навстречу драгунам в блиндаж штаба полка – сегодня дежурным был командир №3 эскадрона штабсротмистр Рейнгардт. После возвращения Рейнгардта из отпуска по ранению они, два москвича, стали сближаться.

А Четвертаков лежал и матерился. Потом сел. Фельдшер всё не шёл. Четвертаков потянулся к ноге, посмотреть, но нога была забинтована и мёрзла голой кожей там, где была задрана штанина. Иннокентий опустил штанину, полез в сидор, достал чистую портянку, намотал,

попробовал сунуть ногу в сапог, с трудом, но нога вошла. Он встал и стал слушать – нога не болела, он сделал шаг – нога почти не болела, тогда Иннокентий осмелел и опёрся – нога опять почти совсем не болела. И тогда он подумал: «И чё я тут буду сопли жевать?..» Он по лазарету, не обращая внимания на взгляды копошившихся соседей, пошёл вокруг своего топчана. Раненые драгуны смотрели на вахмистра, каждый посвоему, некоторые осуждающе. Иннокентий читал их мысли: «И куда ж тебя несёт?» – думали одни; «Эка напросишься, – думали другие, – начальство заругается!»; «Давай, давай, – думали третьи, – шибко храбрый да настырный долгот не живут!» Эти, третьи, а в лазарете раненых было всегото пятеро, не желали зла Иннокентию, он в полку пользовался заслуженным уважением и как вахмистр, и как охотник, и как просто незлой мужик, а злой только до войны и до дела. Но только война в этих гнилых окопах уже надоела до чертиков, надоела грязь, сырость, надоела неизвестность того, что будет завтра и будет ли завтра, надоело сидение на одном месте. И получалось так, что на самом деле здесь война почти не проявляла себя, не сравнить же с тем, что было прошлой зимой или даже прошлым летом, а уж тем более позапрошлым летом, когда не слезали с сёдел по несколько суток... И что же? С войной плохо, а без войны ещё хуже?

И Иннокентий решил, что «Харэ тут сидеть! Боле ничё не высидишь!» Он подобрал сидор и, ни с кем не прощаясь, вышел на воздух и не слышал, чего ему гуторили в спину. А в спину ему ничего не гуторили, смолчали, сплюнули и, пока не пришёл «фелшэр», стали крутить самокрутки.

На воздухе было хорошо. Так хорошо, что Кешка на секунду забыл, откуда он идёт и почему он там находился, и запнулся за торчащий из земли корень и сразу вспомнил все причины, и откуда он идёт, и почему он там был, и испугался, что потечёт кровь. Тогда ему придётся вернуться и уже точно, что на позор и осмеяние товарищей, и он остановился и стал прислушиваться, что у него происходит в сапоге. Стоял не меньше минуты. Успокоился. Всё было в порядке, но всё же надо быть поосторожнее. И тут на него из-за поворота ближнего окопа налетел фельдшер, они увидели друг друга, и фельдшер уже открыл злой рот. Кешка встал как вкопанный, вылупил на фельдшера глазища и замахнулся рукой со сжатым кулаком, фельдшер аж присел, и Кешка чуть было через него не перешагнул.

Сколько же он думал над тем, что бы ему хотелось представить! На гармониях и бала-лайках он играть не умел, на кривых, вихляющихся ногах, стуча каблуками в пыльную землю, не отплясывал, если пел, то только в тайге, и никто не сказал ему, каково у него получается. Завидовал эскадронному кузнецу Петрикову, что тот всё умеет, даже свистать в один палец, что уж там говорить об игре на двуручной пиле. И тогда у него созрел план. Года четыре назад они с Мишкой Лапыгой пришли на остров Ольхон, жили там несколько дней среди бурят и оказались на празднике. Охотники подняли из берлоги медведя далеко от острова, где-то на берегу Сармы, на двух волокушах привезли огромное чудовище в стойбище и устроили такое, чего Кешка не видал, хотя и слыховал. Всё стойбище расселось на снегу вокруг большого костра. Кешка поглядывал на Мишку. Михаил помалкивал и на немые вопросы Кешки не отвечал, только показывал пальцем – мол, молчи, и слушай, и смотри. Буряты варили в котлах медвежатину, женщины и малые дети держались позади мужчин, мужчины ворчали, но оказалось, что это они так то ли поют, то ли молятся. Потом Михаил рассказал, что они просили прощения у Хозяина, значит, молились. Чтото делал шаман, Кешка тоже не понял, а Мишка нашептал, что шаман испрашивает у Хозяина разрешения, что, когда будет нужда снова отправиться в тайгу, чтобы «все оттудова возвратились живыми». В руках у шамана дрожал и звенел бубен, и он бил в него заячьей, как показалось Кешке, лапкой, привязанной к палке. Шаман крутился вокруг себя, бил в бубен и чтото резко выкрикивал, а то тихонько подвывал. Кешке сначала было интересно, а потом наскучило, он пялил глаза, смотрел, а сам дергал себя за палец и щипал за щеку, чтобы не уснуть, и Мишка его подталкивал под бок, мол, не спи, а то обидишь Хозяина и обитателей стойбища. Всё это длилось долго, уже почти стемнело, и мороз

забрался в заячьи варёги и даже в волчьи унты, и Кешка стал шевелить всеми своими двадцатью пальцами. А потом буряты стали громко кричать и взмахивать руками, потом замолчали, и перед костром выскочили в обнимку два мальчика и начали прямо на снегу в отсветах костра бороться...

Кешка так живо вспомнил тот вечер с бурятами на Ольхоне и борьбу этих самых мальчиков, что опять споткнулся и чертыхнулся, однако споткнулся здоровой ногой, и опять всё обошлось.

Он дошёл до своего эскадрона, его встретил дневальный, привычной скороговоркой отрапортовал, и Кешка полез под свой козырек.

На его законном месте всё сохранилось, как было, когда он ушёл в разведку, даже валежник на земле. Главное, что никто не раздербил его заветный мешок, сшитый из кож убитых им косуль.

– Господин вахмистр, угольку не жалаите? – буднично спросил его дневальный.

– Давай, а то чёта зябко, – так же буднично ответил Четвертаков.

В его эскадроне не бытовали настроения, всё было буднично. Прислушиваясь к тому, как и что делает командир эскадрона ротмистр Дрок, Четвертаков сам ни на кого не кричал, мог только поднести кулак под сопатку, но никогда никого не ударил и не оскорбил, поэтому настроения в эскадроне сильно смахивали на обычные часыкуушку: между деталями ведь не бывало ни ссор, ни свар, а часы были живые, они шли и тикали, только гири заводи, и каждый час кукушка из часов «кукукала», а в эскадроне просто раздавались обычные военные команды, и эскадрон себе жил себе, как те часы.

Дневальный притаранил широкую круглую медную жаровню с высокими бортами, взятую из какого-то немецкого имения, похожую на ту, в которых городские хозяйки варят варенье, до середины наполненную углями. Угли дымили, Четвертаков взялся за длинную деревянную ручку и поставил жаровню под дальнюю стенку, и дым стал обволакивать землянку под обшитым досками козырьком. В ногах стало теплеть и пахнуть окопным, уже привычным домом. Это были последние в передовой линии полка траншеи, выкопанные уже в декабре, когда подсушило морозами, и вода ушла. Рыли под руководством саперного поручика Гвоздецкого, как его сразу прозвали драгуны – Гвоздецкого-молодецкого. Рыли по всем правилам фортификации, и драгуны играли на пальцах и проигрывали друг другу табак, кто правильно выговорит это слово, чаще «вничью», потому что мало кому – «фортификация» – давалось. Кешка даже не пытался. Кешка, как самый старший из унтерофицеров в эскадроне, не мог себе позволить пустой, никчёмный проигрыш, а Гвоздецкий предательски поддразнивал копавших, провоцируя как раз-то и произнести.

Траншеи получились будь здоров: изломанные, на каждом плече саженой по пяти, глубокие, в рост среднего драгуна. Землю отбросили на сторону противника и сделали бруствер, из-за которого не мелькали головы даже самых верзил: что Курашвили, что денщика Клешни или кого другого. Под бруствером построили козырьки и накаты в два бревна и с землёю между ними, а под накатами устроили землянки, то есть под козырьками. Всё обшили досками, кругом росли стройные сосны, и времени было много без больших боёв. Вот только «вша заела», но от этой напасти и раньше было некуда деваться. Тут, правда, Курашвили проявлял строгость, и недалеко от «Клешнёвой ресторации» поставили в березняке паровую вошебойку, благо воды кругом было хоть отбавляй.

От жаровни грело, Иннокентий снял сапоги, обвязал портянки бечёвкой, чтобы не разматывались, и стал разбираться со своими приготовлениями.

Он подтащил мешок, развязал и достал сначала бубен. В этот момент к нему нагнулся дневальный.

– Господин вахмистр, разрешите обратиться! – сказал он.

– Обращайтесь! – сказал Иннокентий.

– Осталось час с половиною до службы, какие на то будут ваши приказания?

Кешка выглянул к нему.

– Какие приказания? – переспросил он. – А какие приказания были от господина ротмистра?

– Никаких, оне только сказали, что от каждого взвода остаётся по два человека...

– Значит, так тому и быть, по дежурному и отделённому, или кого отделённый сам себе изберёт, или кто своей охотой останется...

– А вы?

– Я не задержусь!

Дневальный ушёл, а Иннокентий стал вздыхать. Он осматривал бубен. Бубен был целый и даже, когда Иннокентий ударил по нему согнутым пальцем, зазвучал. Он ни разу не держал в руках настоящего бубна, но заметил, как этот инструмент был сделан у шамана. Они с кузнецом Петриковым взяли тонкую дранку, вымочили, согнули в кольцо и скрепили, как делают решета для кухонных нужд. Кешка выбрал с брюха козули кусок кожи, высолил и отрезал и, пока была сырою, натянул. Сейчас кожа подсохла и побелела. В мешке были ещё выделанные кожи, он намеревался их сшить и сделать удивительный костюм для борьбы бурятских мальчиков. Однако Иннокентий уже осознал, что ничего этого он никак не успеет.

Он перебирал в руках свои заготовки, переживал и, не высовываясь изпод козырька, смотрел, как перед ним движутся драгуны, – они шли в одном направлении слева направо. Они шли до ближайшего хода сообщений двадцать шагов, потом поворачивали налево, и уходили в тыл полка, и вытягивались на тропинке к березняку.

До торжественного молебна по случаю праздника Крещения Господня оставался ещё почти час, и надо скоро вылезать отсюда и тоже идти. Он самовольно покинул лазарет и должен за это быть наказан, он самовольно вернулся в эскадрон, и за это тоже должен быть наказан. Идти никуда уже не хотелось, здесь он дома, но и быть наказанным не хотелось, и он, размышляя обо всём этом, вспомнил, как несколько месяцев назад так же не хотел, чтобы поезд довёз его до дома, потому что перед ним бы предстала Марья с дитём на руках, но так не оказалось. Значит, надо идти на молебен и праздничную службу, раз эскадрон будет там, а вот оставаться ли на представление-концерт, это уж он сам решит.

Драгуны шли толпой, запинаясь и останавливаясь, мелькали перед глазами сапогами, и Иннокентий глядел на них не мигая.

Он уже почти простил Марью, он какимто образом отделил её от того злого события, только всё зло этого события ещё олицетворял для него крошечный человечек, мальчик по имени Авель, и имято ему какое решил дать отец Василий. Что-то в этом имени для Иннокентия было – или отгадка, или загадка, он не мог пока понять. Это было мучение, но только уже как затухающая боль, как боль в прооперированной ноге. Иннокентий закурил и затянулся так глубоко, что чуть не задохнулся, и закашлялся. И подумал про письмо от отца Василия, что, может, старик прав и Марья зачала. А мальчишка, Авель, чужой, как есть чужой. И пусть его воспитывает отец Василий, только пусть Марья из его аттестата чуток отдаёт, денег не жалко. А если она зачала, то родить должна в сентябре. В сентябре 1916 года от Рождества Христова.

Вот такие дела.

Это Иннокентий понял только что, осознал. Он даже вздрогнул и повёл плечами. И принялся натягивать сапоги. Идти было пора.

Хотя нет. Ещё есть время.

А представление должно было получиться знатным.

Тогда около шаманского костра двое мальчишек небольшого роста выскочили вместе, да так крепко сцепились, что не могли расцепиться до самого конца. Они валили друг друга, делали подножки, катались по снегу, бросали друг друга, но не разнимали рук, а буряты ахали и охали, а Мишка, который сидел рядом, только покрывал и прятал в бороде улыбку, будто

знал какой-то секрет, да помалкивал, Кешка-то Мишку хорошо знал. Сам же не отрывался и смотрел на борьбу восхищенным взглядом и обалдел, когда один мальчишка поднял другого ногами вверх, и Кешка подумал, что вот он грянет того спиной о набитый ногами плотный снег и, не приведи Господь, убьёт до смерти! Но получилось удивительно, аж Кешка ахнул, когда – тут даже помутилось в глазах, – когда два бурятских мальчика оказались одним человеком, надевшим на себя сшитый из шкур мешок с пришитыми руками и ногами, с пришитыми к мешку двумя, наверное, сухой травой набитыми головами, с нарисованными лицами, глазами, щеками и ртами, а носов бурята́м Бог не отпустил. Человек, мужчина, распрямился, что-то такое сделал руками, и шкуры с него упали на снег. Мужчина их подобрал и исчез между галдевшими бурята́ми. Кешка глядел на это открыв рот и не сразу почувствовал, что Мишка толкает его локтем.

– Пойдём, што ли? А то дюже холодно! Адали ног не чую!

Они поднялись и, никем не замеченные, – бурята́м было не до них, – пошли к чу́му. Там Мишка достал настойку на травах и кореньях, они выпили, закусили вяленным мясом и стали спать, а Кешке снились эти самые мальчишки, только они разделились, и среди них павой ходила какаято очень красивая черноволосая девица, которую Кешка никак не мог вспомнить, но точно, что не его Марья и не бурятка.

Кешка вздохнул, стукнул пальцем по бубну, послушал, потом затолкал свои приготовления обратно в мешок и со всеми потянулся в рощу. Драгуны ещё шли густо.

Отец Илларион закончил службу. Вся вырубка была занята драгунами. Они стояли без шапок, поэскадронно, но не рядами, вырубка была не плац, а кучами. Под ногами торчали пни и лежали срубленные, сложенные, но не унесённые пока стволы берёз и елей, что-то на растопку, а что-то для обустройства в траншеях. Эскадронные церковники наливали из котлов драгунам во фляжки святую воду. Кешка, став вахмистром, уступил своё место эскадронного церковника младшему унтер-офицеру Доброконю. Доброконя из вестовых повысили до командира отделения №1 эскадрона, и теперь он, вместо Четвертакова, и полковой писарь Гошка Притыкин по прозвищу Притыка наполняли драгунские фляжки.

По пол-эскадрона уже прошли, получившие свою меру нижние чины крестились, отходили от котлов и выбирали места смотреть представление. Все были весёлые, драгуны в шутку бранились, подначивали друг друга. Кешка увидел, как несколько тайком уходили в рощу за спины командиров, окруживших отца Иллариона. Он понял, что это те, кто будут представлять: свистать на свистульках, плясать под гармошку, петь частушки, в общем... Кешка приметил и кузнеца Петрикова, тот шёл в заросли, оглядывался, но Кешка увидел, что изпод полы шинели у Петрикова торчит ручка двуручной пилы. Ещё Кешка увидел, что металлическое полотно пилы кузнец очистил от ржавчины, и полотно чернело матово и свежо. Кешка с сожалением хмыкнул, но и улыбнулся. Ещё неизвестно, как бы у него у самого получилась борьба бурятских мальчишек, даже если бы он успел сшить из шкур всё, что надо было в его представлении, а нужны были и руки, и ноги, и головы с нарисованными лицами, без носов... вот такой бурята́м достался Бог!

Он медленно продвигался в очереди, держа в руке фляжку, а папаху подмышкой, драгуны было расступились перед ним, но он не видел этого и двигался между ними. До чана оставалось человек пять-шесть, Четвертаков глянул на Доброконя, и ему в глаза блеснули две Георгиевские медали и серебряный крест, что торжественно, по случаю праздника висели на груди бывшего вестового. А он свои три медали и два креста даже и вынуть из сидора забыл. И за это он тоже должен быть наказан. Про стоявшего рядом с Доброконом Притыку говорили, что, мол, на груди его могучей одна медаль болталась кучей. Притыкин получил медаль «За усердие» на красной ленте, за образцовое содержание штабного хозяйства, и ту несколько месяцев выпрашивал для писаря адъютант полка поручик Щербаков.

Вдруг Четвертаков увидел, как, расталкивая в спины драгун, к офицерам пробирается вестовой с повязкой штабного дежурного на рукаве. Проталкивается грубо и настырно и получает в спину такие же грубые тычки и шутки. Вестовой протолкался к ближнему, к ротмистру Дроку, и что-то стал ему громко докладывать, Кешка не слышал, было далеко, но видел, как у вестового от напряжения голоса поднимаются плечи и вздрагивает спина. Кешка увидел, что у Дрока сначала округлились глаза, а потом он махнул вестовому, чтобы тот не кричал, и отвел его на шаг в сторону. Когда вестовой закончил, Дрок вернулся к Вяземскому и стал говорить тому в ухо. Дальше Кешка увидел, что у Вяземского на лице серьёзно сошлись брови, и он отдал приказ ротмистру, и в этот момент Четвертаков почувствовал ногами, что земля задрожала, а Дрок повернулся к полку и прокричал команду:

– Пооолк! Отставить раздачу! Накроойсь! На позиции кругоом маарш!!! Да бегом, бегом, мать вашу!!!

Драгуны на секунду замерли, в этот момент они тоже почувствовали, что земля под ногами дрожит, и заметались. Кешка увидел, что офицеры плотным кольцом окружили отца Иллариона и все направились в сторону позиций. В этот момент закричали эскадронные командиры и эскадроны стали разбегаться в разные стороны, на глазах очищая вырубку.

«Вот тебе германец и замирился!» – подумал Четвертаков и ещё увидел, что между ним и чаном, рядом с которым оставался стоять писарь Притыкин, стало свободно.

«Чемоданы!» – понял он, глянул на небо и шагнул к чану.

– Лей! – скомандовал он Притыкину.

У Притыкина бегали глаза и подрагивали пальцы.

– Лей, не бойсь! – снова скомандовал Четвертаков.

Притыкин взял его фляжку и стал лить, много лил мимо, а сам поглядывал то на вахмистра, то на небо.

«Ничё! – подумал про писаря Четвертаков. – В штаны не наложишь, буду просить тебе Егория».

Он стоял против писаря, Доброконь ушёл, ему надо было командовать отделением, и Четвертаков и Притыкин остались на всю поляну одни.

Предчувствие летящих тяжёлых снарядов нарастало.

«Ещё неизвестно куда... можа, оно и мимо!» – подумал Четвертаков, посмотрел на Притыкина и увидел, что тот пытается справиться со страхом.

– Давай я подержу флягу, а ты лей двумя руками и не дрефь!

– А я и не дрефлю, – вдруг услышал он от Притыкина, посмотрел ему в глаза и увидел, что тот справился.

– Вот и молодец! Себет налил? – спросил Четвертаков, Притыкин мотнул головой. – Ну, тады плесни и пошли со мной, догоняй!

В этот момент снаряды взорвались на дальнем крае вырубки, там, где минуту назад стояли офицеры и отец Илларион.

Относительно Четвертакова германец дал перелёт.

Кешка уже бежал в сторону позиций и вдруг вспомнил, что там, где сейчас упали первые снаряды, как раз готовились к представлению свистуны, плясуны, песельники и кузнец Петриков.

– Дуй до штаба! – крикнул он Притыке, а сам повернул назад. «Точно надо испросить ему Егория, проявил-таки писарь бравость», – подумал он про Притыкина и увидел продырявленный осколками чан, из которого на перетоптанный с песком снег выливалась святая вода.

«Их-ху, с-суки! – подумал он про германцев. – Обмануть захотели, на мякине провести! Ну, я вам! Вот только Петрикова найду, без него кто чаны залатает?»

До следующего залпа оставалось ещё шагов сто. Четвертаков обнаружил Петрикова через пятьдесят. Тот сидел на земле в одном исподнем, в сапогах и держался за уши, из-под ладоней кузнеца сочилась кровь.

«Прибило, но живой, – подумал Четвертаков, подбежал и взвалил кузнеца на плечи. Петриков замычал и стал водить глазами вокруг. – Пилу ищет! От чёрт, хозяйственный!»

– Ничего, завтра найдёшь! – прокричал ему изо всей силы Четвертаков и упал вместе с кузнецом, опрокинутый следующим взрывом. На них комьями полетела сверху земля, но через несколько секунд он почувствовал, что его тянут за плечо, он поднял голову и увидел, что это его за шинель ухватил Притыка.

– Вставай, бежим, – услышал он писаря.

Теперь кузнеца на плечи взвалил Притыка и поковылял в сторону позиций. Четвертаков метнулся к деревьям, увидел, подобрал пилу и стал догонять Притыку. Про свистунов и плясунов не вспомнил. Он обогнал писаря, оглянулся, понял, что теперь на плечах у здорового Притыкина кузнец, считай, спасён, и побежал в окопы.

Теперь германец стрелял уверенно и по окопам, и по вырубке, видимо, лётчик, который сбросил листовки, всё же не зря несколько раз пролетел над расположением.

После пятого залпа рядом с санитарным блиндажом, лазаретом, появился закопчённый, в лохмотьях шинели злой Сашка Павлинов и обозные повара.

– Конец ресторации, ваше благородие! Разбонбили! – выдохнул он Курашвили и поплёлся в сторону штаба полка.

Когда Четвертаков прибежал в свои окопы, в них никого не было, и он стал по ходам сообщений пробираться на аванпосты. По дороге ему встретился поручик Кудринский и махнул рукой вперёд.

Эскадрон залёг на аванпостах повзводно и поотделённо, с ними был ротмистр Дрок. Как всегда, он прохаживался позади передовых неглубоких окопов и давал указания. Увидев опоздавшего Четвертакова, показал кулак и пошёл вперёд к пулемётным гнёздам.

На восьмом залпе германец перенёс огонь на аванпосты, и Дрок снял эскадрон и увёл в траншею второй линии. Командовать пулемётами оставил Четвертакова.

Германец стрелял тяжёлыми снарядами- «чемоданами», разметал на стороны засеки из стволов и сучьев с натянутой колючкой, изрыл всё пространство воронками, перемешал с землёй, песком и льдом и превратил в грязь.

Артналёт продолжался два часа, и, когда Четвертаков отвёл пулемётчиков во вторую линию и пристроился к биноклю, то увидел, что к аванпостам приближаются роты три германской пехоты. В это время он краем глаза заметил, как от воронки к воронке перебегают из тыла трое незнакомых, два нижних чина с катушкой телефонного провода и один офицер. Кешка высунулся и махнул им рукой, это оказались наводчики артдивизиона, вставшего у драгун в тылу. Наводчики обосновались в одной из воронок на дюне, и через несколько минут наступавшего противника точно накрыла русская артиллерия. В бинокль Кешка видел, как взрывы поднимают на воздух лёд и грязь, а германец сначала залёг, а потом стал отступать, но не побежал. И тогда германцы перенесли тяжёлый огонь в тыл по артдивизиону. Наводчики развели руками – достойных калибров и дальнобойной артиллерии у них не было, чтобы достать германскую батарею, и они подались к своим. К этому времени опустились сумерки, сгустился туман, и бой затих.

Вяземский собрал офицеров.

– Потери? – Вяземский задал первый вопрос, и командиры эскадронов по одному, начиная с ротмистра Дрока, стали докладывать.

Потери были невелики, в основном раненые и контуженые, несколько пропавших без вести.

– Пропавшие без вести... – задумчиво произнёс Вяземский. – Как же это? Не в наступлении же и не отступали! – Он обвёл взглядом офицеров.

– Надо бы вырубку осмотреть, может, там кого накрыло... – сказал ротмистр фон Мекк. – Налёт начался неожиданно, они же листовки разбросали...

– Разрешите? – обратился Дрок.

Вяземский кивнул.

– Этого германцу нельзя спустить, – сказал ротмистр, – это не по-рыцарски они сделали, чистой воды обман, хорошо бы...

– Что вы предлагаете?

– Я предлагаю... – И Дрок указал на карту. – Вот в этом месте между их четырнадцатой и шестнадцатой ротами четвёртого батальона большой, никем не занятый промежуток, здесь они на дороге выставляют передовое охранение и блокгауз с полуротой, видимо, думают, что между ними и нами совсем уж непролазное болото...

IV

Иннокентий прыгал с кочки на кочку, с бугра на другой и думал, что если он выживет на этой войне, то... ещё он не понимал, почему ему то жарко, а то холодно, и решил, что это пустое. Мысленно он видел, что из двух бурятских мальчиков один Авель, а другой совсем маленький и на Авеля не похож, и он понял, что второй – это родной его сын, который ещё только должен родиться, и тогда он снова подумал, что ежели выживет на этой войне, то...

Вахмистр Четвертаков вместе с Кудринским вели команду разведчиков. В глубокий рейд вышел полуэскадрон ротмистра Дрока и разведывательная команда Кудринского.

После обстрела уже вечером, когда совсем стемнело и бой затих, Кешка взял с собой самого опытного драгуна и с аванпостов пополз вперёд. Вдвоём они ползли долго, прячась за кусты и деревья. Когда германец стал обстреливать полк и вместо представления все побежали с вырубки на позиции, ни у кого не возникло мысли прихватить с собой белую маскировку, поэтому Кешка и его напарник были видны на пятнах льда и снега, поэтому передвигались от одной чёрной лужи к другой. По опыту Кешка знал, что саженой за сто, если германец залёт, а не ушёл, он учует его по запаху. Германец, когда оставался на позиции, то выставлял охранение, поэтому он мог и закурить и был слышен со своим каркающим разговором.

На открытом месте с ямами и низинами Кешка иногда поднимал голову, и принюхивался, и прислушивался и, когда почти преодолел расстояние, через которое германец должен был лежать, понял, что – нету его там, и стал передвигаться быстрее, его напарник не отставал, и они достигли германской лёжки. Германец оставил три роты окурков, и самое главное – следы тянулись туда, где чёрное небо сливалось с чёрным лесом и где-то не сразу стоял германский полк.

Прыгая с кочки на кочку, с бугра на другой, быстро возвратились обратно. Иннокентий явился к штабу, его сразу допустили, и он доложил, что германские роты ушли. И узнал, что его эскадрон и команда Кудринского готовятся к рейду.

Это было здорово – к чёрту Авеля!..

С правого фланга полка полуэскадрон ротмистра Дрока гуськом тянулся на запад. Сейчас все надели на себя белые балахоны, и издали могло показаться, что двигаются не люди, а волнуется воздух. Ночь была замечательно тёмная, чёрная; где-то клоками свисал до земли туман, может быть, это он двигается, а не люди. У ночных наблюдателей в такую погоду резало глаза, и нельзя было смотреть в одну точку, а только правее или левее и если двигается, то смотреть не на то, что двигается, а дальше или ближе, и тогда начинали стрелять, не по цели, а так, по направлению, для того чтобы разогнать собственный страх, что, вот, мол, я ещё есть. За это наказывали, за то, что охранение выдавало себя, но кто докажет?

Выходя из штабного блиндажа, чтобы переодеться в сухое, Кешка услышал, что фон Мекк и Дрок заспорили. Кешка услышал про «артиллерию» и понял, что фон Мекк хочет устроить отвлекающий обстрел, а Дрок не хочет германца будить, мало ли, задрыхнет, зачем же тогда будить. Чем кончилось, Иннокентий не расслышал, но был на стороне своего командира. Хотя тоже и фон Мекк, глядишь, посвоему прав.

Иннокентий почувствовал, что его пробивает озноб, захотелось вжать голову в плечи и закутаться. Рядом шёл Кудринский. Поручик совсем превратился в охотника и даже, казалось, стал ниже ростом, потому что пригнулся. Разведчики и полуэскадрон двигались от старого лесничества на запад по почти всеми забытой просёлочной дороге. Пройти предстояло несколько вёрст без проводника, так надёжнее, потому что проводники трусили, а дорога раз-

ведчиками была уже хоженная. Кудринский шёл легко и дышал почти неслышно, а Иннокентий чувствовал, что ему дышится удивительно плохо, как будто горло сдавили пальцами и воздух еле проходит.

А Кудринскому было хорошо, он шёл и держал в голове маршрут.

«Ещё две версты, – думал Кудринский, – сейчас противник нас не видит, если не выставил охранение на дальних подступах. Но скорее всего не выставил. Они так далеко не любят...». Где лежит германское передовое охранение, было известно: в ста – ста пятидесяти шагах от первого ряда проволоки, об этом обменялись сведениями с соседним отрядом атамана Пунина, который за последний месяц, выполняя задачи по XVIII армейскому корпусу, облазил все подступы к противнику и всё зарисовал на схему. Пунинцы даже вступали в перестрелки с ландверными и имели потери.

«Какие же они смелые, братцы-пунинцы», – думал про них Кудринский. Он познакомился с их атаманом поручиком Леонидом Пуниным и его младшим братом Львом и немного завидовал им, потому что они называли себя партизанами особого назначения, подражали легендарному Денису Давыдову и готовились к нападению и уничтожению штаба генерала Винекена, но пока не получили одобрения от командующего 12й армией генерала Горбатовского. Кудринский даже уже хотел подать рапорт и попроситься к атаману, но его сдерживало то, что он никак не мог забыть лейбкирасира его величества поручика Смолина и своё так и не удовлетворённое прошение о зачислении в полк. Решения не было никакого, ни положительного, ни отрицательного.

Он шёл, задумался и услышал тяжёлое дыхание, оглянулся, рядом плёлся Четвертаков. Кудринский остановил группу. Четвертаков благодарно посмотрел и тяжело сел на обочине. Кудринский присел рядом.

– Что с вами, Четвертаков?

– Чёта дышится тяжело, ваше благородие...

– А идти сможете?

– А как жеш, ваше благородие, ща тока отдышусь...

– Ладно, посидите, отдышитесь, а нам некогда...

– Я догоню, Сергей Алексеич, ваше благородие, я, как только...

Кудринский поднялся.

Четвертаков вынул чистую тряпицу и вытер пот со лба, тряпица стала мокрая. Один раз в жизни с Иннокентием такое уже было, когда давно весной он высадился на восточном берегу Байкала, вытащил лодку на сухое, промочил ноги и ушёл в тайгу, а что было дальше – не помнил, только очнулся снова на берегу, на песчаной отмели Селенги, а рядом сидел притащивший его из тайги Мишка Гуран и покуривал.

Драгуны-разведчики команды Кудринского шли по одному мимо сидевшего на обочине вахмистра Четвертакова. Шедший последним тронул его за плечо, и Четвертаков повалился. Вахмистр дышал, и тогда последний остался дожидаться первого из подходившего следом полуэскадрона ротмистра Дрока.

С двумя справа и слева от дороги передовыми постами блокауза 4-го батальона 57-го ландверного полка разобрались быстро: оставили в живых одного ефрейтора, допросили и отправили в тыл.

Сам же блокауз, в котором продолжала дрыхнуть полурота, чтобы не шуметь, надёжно подпёрли и дожидались, пока подойдёт Дрок с людьми и коноводы с посёдланными лошадьми. Телефонные провода от блокауза по фронту и в тыл нашли и перерезали, вроде всё сделали как надо.

Кудринский пошёл встречать ротмистра.

– А что с Четвертаковым? – спросил подошедший Дрок.

– Я оставил его на обочине, а как он сейчас?

– Без сознания, но дышит...

Кудринский пожал плечами.

– Ладно, – сказал Дрок и осмотрелся. – Разберёмся после, я отправил его в тыл, пускай Курашвили посмотрит, он всё же был ранен. А с этими, что будем делать, Сергей Алексеич? – Он кивнул на блокгауз.

Кудринский удивился, потому что обо всём договорились перед выходом: что оставят четырёх драгун с пулемётом и гранатами и в придачу к ним латыша, знающего немецкий язык, он должен объяснить германцам, чтобы те сидели тихо и не шумели, если хотят жить.

Кудринскому нечего было ответить, и он оглаживал по шее только что подведённого к нему Битка.

– Хорош ваш гунтер, Сергей Алексеич, ох хорош! – отвлёкся на Битка Дрок и тоже похлопал коня по шее. Он ещё постоял, сплюнул, взобрался на свою кобылу и тихо скомандовал: – Рысью марш!

Пунинцы сработали славно, кроки были точны на три с половиною версты в тыл 57го ландверного полка. Эти три с половиною версты с подмотанными копытами прошли за полтора часа, по дороге встретили германский патруль, но те растерялись и были связаны. По обеим сторонам дороги, которая, чем дальше от Тырульского болота, тем становилась лучше, рос густой сосновый лес. Ночь была до того тёмная, что вершины сосен пропадали в непроглядном небе. Теперь уже Дрок уверенно вёл отряд, и лес внезапно кончился. Всем показалось, что и ночь кончилась так же внезапно, так внезапно, что, когда выехали на открытое место, кони отпрянули и попятнулись. Кони были сама природа и хорошо знали, что если что-то кончается внезапно, то жди беды, и испугались.

Отряд втянулся назад в лес, и Дрок с Кудринским полезли на дерево. Дрок потом спрыгнул, на одной сосне нечего делать вдвоём. Кудринский вылез на самую высоту и наблюдал в бинокль. Когда слез, стал рисовать схему, получалось, что в полуверсте у шоссе стоят четыре 15сантиметровые гаубицы, и ещё он разглядел два аэроплана.

– Один точно наш! – осклабился он.

– Откуда знаете? – удивился Дрок. – Ещё совсем темно! Что вы там могли разглядеть?

Кудринский поджал губы, молчал и улыбался.

– Что делать будем? – Дрок уложил в карман схему с нанесёнными координатами батареи.

– Как договаривались, Евгений Ильич!

Германские гаубицы, накрывшие вчера их полк, были на расстоянии шести вёрст, в пределах досягаемости тяжёлой артиллерии XLIII армейского корпуса генерала Новикова.

– Хорошо! *Что* вы?

– Я останусь.

– Сколько вам оставить людей? Отделения достаточно?

– Отделения много, человека три, я думаю, и коновода...

– Пулемёт?

– Мадсена...

– Хорошо, тогда с Богом!

– С Богом, Евгений Ильич!

Кудринский не стал смотреть, как полуэскадрон Дрока и большая часть его разведывательной команды стала разворачиваться. Он снял с седла выюк с английской винтовкой, передал одному из оставшихся, взял верёвку и снова полез на сосну. Сосна была высокая, старая, толстые горизонтальные ветки начинались низко. Он залез на макушку, скинул верёвочный конец, внизу к верёвке привязали винтовку и подсумок с патронами. Кудринский всё поднял, расположился и обнаружил, что ветра нет, и стал тревожиться, потому что время было пред-рассветное, а после ветер или даже ветерок может подняться, и тогда будет трудно целиться.

Он стал смотреть в бинокль. Впереди находилась германская позиция. Поручик разглядел гаубицы, прислуга вокруг них двигалась, позади гаубиц стоял снарядный парк – накрытые брезентом ящики, это было обычно, и Кудринский понял, куда надо стрелять. Чуть дальше было интереснее – шагах в ста позади гаубиц расположились два аэроплана и вокруг них тоже угадывалось движение. Стало понятно, что торопиться некуда и ещё темно – что стрелять, что летать, и Кудринский подумал, что сидеть ему на этой сосне не меньше часа. Он посмотрел вниз, его люди расположились по обочинам дороги и изготовились, их было не видно.

«Только бы не заснули, дьяволы! – подумал он и пожалел, что рядом нет Четвертакова. – Сейчас бы как пригодился! Что с ним такое приключилось?»

Четвертаков был какойто странный. Кудринский уже через несколько месяцев после начала службы в полку понял, что Четвертаков не оченьто похож на своих однополчан. Кто бы ещё сказал самому Кудринскому, а похож ли он сам на своих однополчанофицеров? Четвертаков был сибиряк, даже ещё подалье, почти что с самого края русской земли, с Байкала, а Кудринский именно что сибиряк, из сердца Сибири, соответственно, оба не ведали, что такое «барин». Как зеркало, в котором эта «ответственность» проявилась, был поручик Смолин. И именно после того примечательного знакомства со Смолиным и после того, что Четвертаков спас Кудринского в первом его конном бою, Кудринский стал себя чувствовать относительно вахмистра неловко, неуютно и не мог себе этого объяснить – с одной стороны, именно с Четвертаковым он ощущал себя как надо: охотник, таёжник, лесовик... чёрт побери! А напротив, презрительно шурясь, ухмылялся поручик Смолин, жёлтый лейбкирасир его величества. Кудринский, конечно, отблагодарил вахмистра Четвертакова, как мог, дал денег, отбил телеграмму дядьке, но Четвертаков сам всё испортил, деньги почти не истратил и пытался вернуть и с дядькой не встретился. Кудринский сделал вид, что обиделся на Четвертакова. Он стал с ним погородскому вежлив, эту вежливость его дядька называл «холодной», но тут же увидел, что Четвертакову это всё равно! «Ну и хрен с ним!» – подумал тогда Кудринский, а сейчас, сидя на сосне, понимал, что ох как не хватает ему Четвертакова! Сейчас бы Четвертаков подбрался к германцу близкоблизко, и они... одновременно... ух и задали бы они жару!

Кудринский сморгнул слезу и посмотрел в прицел, смотреть в бинокль уже было нельзя, бинокль сильнее, и после него к прицелу надо привыкать.

Немного рассвело, добавляли видимости на открытом пространстве пятна снега, шевелений вокруг гаубиц, снарядных ящиков и аэропланов прибавилось. Он увидел, что солдаты тащат по земле брезент от артиллерийского парка.

«Сняли чехол? Значит, собираются грузить? – гадал он. – Уходят?»

Это было плохо. Он стал смотреть ещё, медленно переводя прицел от орудия к орудию и за орудия в тыл. Он разглядел несколько запряжек, которые выстроились к снарядным ящикам.

«Грузят!»

Это подтвердило догадку, что гаубичную батарею собираются передислоцировать. Это значило, что германцы отстрелялись, испортили праздник, а теперь уйдут на другое место и испортят комунибудь чегонибудь ещё. Кудринский посмотрел на часы, через час, если ротмистр Дрок доставит схему расположения германцев, наша тяжелая артиллерия должна расстрелять батарею вместе со всем, что тут находится. А вдруг не успеет? Орудия отводить, думал Кудринский, могут начать минут через тридцать – сорок: перекидают ящики на подводы и отойдут хотя бы на полверсты, и всё – вся сила артиллерийской атаки придётся по пустому месту. И аэропланы улетят. А куда?

Куда улетят аэропланы, и куда уйдёт артиллерия?

И как достать лётчика?

Кудринский слез с дерева, драгуна с пулемётом Мадсена оставил с коноводом, и с двумя своими разведчиками подался в сторону батареи.

В утренних сумерках не долго пробирались через высокие и не слишком густые заросли, кусты заканчивались шагах в тридцати от батареи, и Кудринский залёг.

Работа вокруг гаубиц велась бодро. Перед глазами ездвые подводили запряжённые передки, продолжалась погрузка снарядных ящиков, люди в серой форме мелькали, и из-за ящиков не было видно, что происходит с аэропланами, однако Кудринский слышал чихание моторов. Чихание то прекращалось, то становилось слышно вновь, моторы заводили. И тут поручик понял, что он всё сделал неправильно – нельзя было слезать с сосны. Надо было хорошенько прицелиться и стрелять по снарядным ящикам, авось какая-нибудь пуля правильно попала бы, и стало бы жарко. А здесь посидел бы Четвертаков, чёрт бы его побрал, и прихватил какого-нибудь убегающего от взрывов германского языка. А тогда зачем? Прихватывать зачем?.. – сам себя перебил Кудринский. Если пуля попадёт «правильно», тогда зачем нужен язык? Только возни с ним...

«Чёрт побери, запутался... С Четвертаковым можно было бы хоть посоветоваться...» – мысль вперемешку с сомнениями получилась такая горячая, что Кудринский вспотел и вдруг почувствовал, что его толкают в локоть. Он глянул, драгун из его команды показывал за куст вправо, там лицом стоял германец в кожаном шлеме и куртке, он зажал под мышкой наручные краги и готовился справить малую нужду.

Кудринский забыл про все свои мысли.

До германца добежали в четыре прыжка. Он уже сделал дело и стал поворачиваться, его оглушили и утащили в кусты.

– Хорошо, хоть опростался, немчура, ща тащили бы мокрого, воняло бы прямо в сопатку... – услышал Кудринский за спиной. Это радовался драгун, который держал под мышками ноги германского пилота. Кудринский и другой разведчик ухватили пилота за руки под плечи и бежали с ним к коноводу. У коней положили германского лётчика на землю, связали, спутали, заткнули рот кляпом, как куль перебросили через лошадиную холку, выехали на дорогу в сторону Тырульского болота и дали плёток. Минут через семь-восемь услышали сначала далёкие выстрелы своей артиллерии, а потом грохот гигантских разрывов, и в спины так ударило и надавило, что лошади по прямой и узкой в высоком лесу дороге полверсты скакали быстрее, чем могли.

Мимо германского блокауза проскочили не оглядываясь, он был тёмный, внутри пуст и скрипел отвисшими на петлях дверями.

Иннокентий очнулся, ощутил в пальцах жёсткую материю и сразу понял, что он на этом свете.

Воюя, он думал о смерти. И в тайге, бывало, думал о смерти. И все эти мысли привели его к тому, что он понял, что на том свете ничего нельзя будет пощупать, то есть пощупать можно, а вот нащупать нельзя. Ни материи, из которой скроены штаны, ни бабы, как она ни повернись, ни винтовочного курка. Всё должно быть духом. Поэтому сейчас, нащупав в пальцах жёсткую материю, он сразу понял, что он на этом свете, и открыл глаза.

На него очень близко смотрели красивые, широко распахнутые глаза.

– Я ждала, я ждала, миленький, что вы очнётесь, я же видела, как у вас стали подрагивать пальцы и веки...

– Ты кто? – спросил Иннокентий.

– Я Елена Павловна, я ваша сестра милосердия...

«Елена Павловна... баба... – оценивающе подумал Иннокентий, – а ежели на том свете, значит, оне чей-нибудь ангел... на этом свете таких красивых глаз не бывает. А вот, я... пощупаю...»

Он сощурился, стал искать пальцами, что-то нащупал и окончательно успокоился: «Не, всё ж на этом!»

Но что-то случилось: смотревшие на него глаза ещё расширились, остались такими же красивыми, но стали удивлёнными и тогда нарисовалось всё лицо, тоже очень красивое. Кешка удовлетворённо закрыл глаза.

«Точно на этом! Не зря я чего-то нащупал!»

Елена Павловна молчала на вдохе, но через мгновение Кешка услышал шорох платья и скрип стула или табурета.

– Позовите Петра Петровича!

Голос на высокой ноте, тот, что Кешка только что услышал, был точно голосом, которому принадлежали красивые глаза земного ангела по имени Елена Павловна. От успокоения Кешка глубоко вздохнул, но не выдохнул, воздух застрял на выходе из груди, и казалось, что сейчас взорвёт грудь, воздух стал давить изнутри так, что выдавил наружу Кешкины глаза, и тогда Кешка закашлялся.

– Позовите Петра Петровича! – услышал Кешка через кашель, и ему показалось, что сквозь слёзы он видит, что всё вокруг стало красным и что голос Елены Павловны тоже стал красным и был такой же отчаянный, как положение с тем, что Кешка задыхается.

Он уже не мог ни выдохнуть, ни вдохнуть.

– Задыхается! Он задыхается!

– Что вы? Что вы, голубушка, Елена Павловна! – услышал Кешка. – Щас мы его!

И Кешка почувствовал, что сильные руки подняли его с обеих сторон за плечи и в кровати посадили.

– Ты, голубчик, дыши, только медленно, не старайся всё разом выдохнуть, а медленно... Задержи дыхание и выдыхай... А мы тебе микстурки, она сладенькая...

Это был доктор, потому что у него на лице было пенсне. Кешка задержал воздух, медленно выдохнул и так же медленно, жмурясь проморгался. Слёзы текли по щекам.

– У вас, молодой человек, крупозное воспаление лёгких...

Иннокентий услышал это, но не понял, к кому было такое городское обращение «молодой человек». Между кашлем он поднёс ладонь вытереть рот и нащупал, что он гладко бритый, вытер со лба пот – и голова была бритая.

«Как коленка я, што ли?»

Своё новое положение Иннокентий принял, он уже понял, что лежит в лазарете, и надо было бы этому удивиться, потому что он не помнил, как сюда попал, но удивляться было нечем, потому что кашель был такой тяжёлый, что отнимал все силы. Сначала Иннокентий сидел, а потом устал и стал давить плечами назад, чтобы державшие его руки отпустили и он улёгся бы. Он улёгся, но стал кашлять ещё хуже, его снова посадили и поднесли столовую ложку с какой-то вязкой коричневой жижой, от которой приятно пахло городским спиртным, и Кешка всю ложку вылизал, как медведь вылизывает из колоды мёд. Кешке даже показалось, что у него, как у медведя, в трубочку вытягиваются губы, а язык совсем не красный, а синезелёный, и он хихикнул.

– Ну, ты, братец, силён, мы думали, ты помрёшь, а ты хихикаешь! – Это сказал доктор Пётр Петрович. Кешка это видел через щёлочки глаз. Доктор это сказал и сам хихикнул. – Сила духа, это вам не сила худа!

Кешка задерживал воздух, воздух внутри взрывался, но Кешка сдерживался и постепенно стал успокаиваться.

– Вот вам ещё микстура, – это сказала Елена Павловна и поднесла ложку.

Кешка, памятуя о первой ложке, с наслаждением вытянул губы и обжёгся, такая микстура оказалась горькая. Он её продавил, проглотил и дал мысль: «А нельзя было, мать вашу, наоборот, сначала-то горькую, а потом уж сладкую?» Однако кашлять стало легче, и через несколько минут потянуло на сон.

V

Антон Иванович, симбирский рабочий с живорыбного склада, это чувствовалось по запаху от его суконного бушлата, положил документ на стол.

– Пойдёт, такое дело! Хорошо! С этой бумаженцией ты сможешь устроиться на курсы сестёр милосердия и вообще куда угодно! Начальником симбирского гарнизона тута был генерал Барановский, пушай думают, что ты его сродственница! Ну, с Богом! – с улыбкой сказал он, поднялся со стула и ожёг Амалию взглядом, в котором читался вопрос: «Эхма, и как тебя такую красавицу мать уродила?»

Однако разговор был кончен, и Амалия с Борисом тоже поднялись.

Когда они вышли из мастерской, их подхватил ледяной ветер, колоколом вздувший юбку.

– У них это называется крещенский мороз, – закрываясь от ветра и подняв воротник шинели, произнёс Борис.

Амалии от этого было не легче, и она тоже подняла воротник с чужого плеча худенького пальто и собрала юбку в кулак.

– Тебе бы гденибудь хотя бы воротник купить меховой, я разговаривал с местными, они сказали, что зима тут вся такая, да ещё и длинная. А представляешь, – на крутом подъёме Борис хватался рукой за ветки кустов на обочине, – сегодня их православный праздник, «Крещение» называется, и они сегодня будут купаться в Волге...

Амалия осторожно ступала по наледи, она не поняла, о чём говорит Борис, и глянула в его сторону.

– Не веришь? Они долбят во льду дырку, прорубь, и плавают в ней, как Иоанн Креститель в Иордане...

Амалия смотрела на Бориса, она слышала про разные зверства разных дикарей, но про то, что дикари сами над собой зверствуют, не слышала.

– Их так наказывают? – на всякий случай спросила она.

– Нет, они сами прыгают в воду, вроде как очищаются от грехов...

– Смертью?

– Почему смертью?..

Амалия всё ещё не понимала, о чём говорит Борис, это же было очевидно, что, когда человек попадает на таком морозе и при таком ветре в ледяную воду, он не может выжить.

– ...Нет, они не умирают, они вроде как смывают с себя все грехи, а потом живут...

«Глупости какие, наверное, их грехи такие толстые, что они и спасают от холода в ледяной воде!» – подумала Амалия, однако спросила:

– Так они, наверное, купаются в одежде?

– В томто и дело, что нет...

– Голые?

– Практически, в одной рубашке...

Амалия представила себе такое купание, от этого ей стало хуже, поддавал ледяной ветер, и она отворачивалась так, чтобы хоть не в лицо. Они медленно шли по крутому, скользкому и длинному подъёму на Венец, и она почувствовала, что её захлёстывает злость – по опыту она знала, что на Венце ветер ещё сильнее.

«Крещенские морозы! А до Нового года были рождественские!.. Их Йезус – бог зимы, что ли? Наверное, у них какойто свой Йезус, русский, и тоже купается вместе с ними! Как тут всё ужасно, в этой России!»

Они поднимались по зигзагообразному, покрытому наледью Смоленскому спуску, до деревянной лестницы надо было ещё пройти. Борис чтото говорил, но она его плохо слышала из-за ветра, который, куда ни повернись, дул в лицо и задувал под юбку. Мёрзлы руки

в такой же, как пальто, худой муфте. Её спутник поддерживал её под локоть, но стоптанные каблуки его австрийских солдатских ботинок скользили. Она балансировала другой рукой и для этого вытаскивала её из муфты, и кисть и пальцы моментально леденели и становились красными, такими, какими она помнила свои кисти и пальцы, когда стирала бесконечные кровавые бинты и солдатские подштанники. Под юбкой было ещё холоднее, и она с завистью посмотрела на армейские суконные штаны Бориса, ей казалось, что в штанах ей было бы несравненно теплее. Она уже была опытная и знала, что у мужчин под штанами есть ещё и кальсоны, ей бы так.

«Бедные женщины! – подумала она. – За что Бог нас так жестоко наказывает? Что мы ему сделали плохого?»

– А какие у них ещё морозы? – спросила она Бориса.

– Что? – не понял он, не расслышал, потому что ветер, как злая собака, вырвался из-за поворота дороги.

– Какие у этих русских ещё морозы?

– Морозы? – переспросил Борис. – Ты о чём?

Вдруг он стал скользить вниз, ухватился за тонкий прут на обочине, но не удержался и на широко расставленных ногах съезжал по наледи и тянул за собой Амалию. Они съезжали вместе, Амалия разозлилась на неловкого спутника, стряхнула его руку с локтя и тоже ухватилась за ближние кусты. И остановилась.

«Фраер!» – подумала она про Бориса и оглянулась. Борис перестал скользить, он остановился, застыл на широко расставленных ногах, балансируя руками, и ей стало его жалко и неловко, ведь сколько он ей сделал доброго, пока они ехали в этот ледяной Симбирск. Практически он её спас от австрийских военнопленных, так и ждавших удобного момента, чтобы наброситься и изнасиловать её, уже беременную.

Она дотянулась до его руки, они зацепились, и она почувствовала, что у Бориса тёплые, почти горячие пальцы.

Она чувствовала эти пальцы и раньше, но Борис, Барух, ничего такого себе не позволял, хотя по его глазам она всё видела и всё понимала, только не понимала, что ей с этим делать. Барух Кюнеман. Это уже русские в Симбирске прозвали его Борисом и даже фамилию дали – Кунен. Или Кунён. Но всё равно этим русским несподручной была странная фамилия, никак не похожая на русскую, и за три месяца, сколько они прожили в Симбирске, Кунен превратился в Кунина, вроде как от куницы, юркого зверька с очень острыми зубками, хищной мордочкой и тёплым мехом, вот бы ей сейчас кунью шкурку на воротник или муфту. Борис ей рассказал, что куница – это близкий родственник русского соболя, дорогущего и очень аристократичного, из которого шьют шубы богатым людям. Амалия жила нищенски, подёнными работами в госпиталях. Она мыла полы, стирала, но и приглядывалась к работе сестёр милосердия, и уже несколько раз ей удавалось за небольшие деньги подменять ночных сиделок.

В частные дома её не брали без рекомендации.

Борис знал об этом и познакомил с фабричным рабочим Антоном Ивановичем. Этот русский неожиданно проявил заботу о ней. Сегодня он посмотрел бумагу, полученную Малкой ещё в пути на имя Амалии Барановской, и сказал, что среди военных врачей много сочувствующих и евреев, и обещал, что с кем-то поговорит и попробует устроить Малку учиться на сестру милосердия. Но пусть она поучится русскому языку, а то, что она иудейка, это не страшно, потому что в России много иудеев среди врачей. Хорошо бы так, а то от голода и холода она уж устала и временами чувствовала себя так плохо, как плохо ей было в октябре, когда у неё случился выкидыш. Это было ещё в пути, долгом и тягостном, кудато на восток, куда с бесконечными остановками и стоянками на запасных путях её вёз поезд с австрийскими военнопленными. Хорошо, что в тот момент рядом был Барух, Борис. Она уже запуталась.

Она потянула к себе Бориса, он устоял на ногах, сделал осторожный шаг, и дальше, помогая друг другу, они добрались до лестницы. Амалия оглянулась на тот ужас, который они

только что преодолели. Внизу была скованная льдом Волга и занесённый белым снегом пустынный левый берег, такой белый и такой яркий, что аж до рези в глазах. Резь в глазах была и от ледяного ветра, ветер резал прямо в глаза, вышибая жгучую слезу.

Вот так же её обожгло изнутри страхом, когда она почувствовала, что находившийся в ней плод пошёл наружу, а поезд стоял. Ей стало тяжело, будто в животе тянула книзу пудовая гирия, она застонала, хотела сдержать крик, но не сдержала и закричала. Ей в тот момент показалось, что из неё выходит не человек, хотя и крошечный – у неё был маленький живот, она в своей жизни видала у других и побольше, даже намного больше, – а раскалённый чугунный шар. Ей стало казаться, что этот шар злой, что он цепляется, она тужилась и одновременно боялась нарастающей боли, ей хотелось, чтобы шар скорее выскочил и освободил её. У неё появилась мысль, что шар – на самом деле её плод – хочет причинить ей зло, за то, что она не хотела, чтобы у неё внутри что-то жило, и поэтому она много и тяжело работала. И от страха и безысходности она стала кричать. Борис в это время проходил мимо вагона, он заглянул, сразу всё понял и побежал за доктором. Доктор быстро прибежал, и они вместе с Борисом склонились над ней, а тяжесть усиливалась, и тогда доктор послал Бориса за горячей водой, и тот принёс котелок. Доктор ругался по-мадьярски и по-немецки, потому что котелок был грязный или доктору так показалось. Доктор и Борис скинули на пол вагона мешки с бельём, уложили Малку; дальше она махнула на них рукой, чтобы отвернулись, они отвернулись, она задрала юбки, чтобы сильно не запачкать кровью, и выкинула. Потом она плохо помнила, она смутно видела, что Бориса стошнило, доктор вытянул белую материю из мешка, разорвал на куски, кусок намочил в котелке и положил ей на живот, а в другой завернул...

Малка видела, что он завернул. Он завернул кровавое пятно, в середине которого был маленький человек размером с ладонь, похожий на ухо, похожий на мышь, большую, или крысу, тогда маленькую, и она поняла, от чего она только что избавилась. Потом не помнила.

Они шли вдоль обрыва Венца. На холод и ветер уже не хотелось обращать внимания. Борис сказал, что надо идти в лагерь, там хотя и немного, но есть чего поесть. Амалию от мысли идти в лагерь передёрнуло, она тряхнула головой и ясными глазами посмотрела на Бориса.

– Я туда больше не могу, не хочу!

– А куда?

– В госпиталь, там в прачечной тепло...

– А ночью?

– Я договорилась с ночной сиделкой, она какаято больная, и ночью ей тяжело дежурить, она мне за это даёт немного денег, сам говоришь, что надо купить воротник.

Амалия говорила так уверенно, что Борис кивнул и согласился.

Он не мог не согласиться, госпиталь лучше, чем барак на окраине Симбирска, в котором около железной печки ночами после тяжёлых дорожных работ ютились полуголодные военнопленные. А кроме этого их врача, доктора из их эшелона, взяли работать в отделение для больных военнопленных, и он иногда помогал Амалии.

Но не сегодня. Прошедшую ночь она уже провела в его госпитале с учебником для фельдшеров на немецком языке, и он помогал запоминать по-русски.

Они шли по Венцу вдоль чугунной ограды.

Амалия всё же обходила частные дома и предлагала себя на подённые работы, а Борису это не нравилось, хотя какое он к этому имел отношение, казалось Амалии. Но она его понимала, потому что он имел право думать в её сторону. Они не срослись, как думалось ему, но сроднились, как думалось ей, и она металась между тем, что она выкинула, между тем, что он советом помог ей выкинуть, и между тем, что его тогда стошнило и у него тёплые пальцы. И она старалась об этом не думать и избегала его внимательных долгих взглядов. Она уже давно осознала себя женщиной большой и взрослой. Она не жалела о своей девственности, как

будто её и не было, она тяжело помогала престарелой матери, так и оставшейся по ту сторону войны. Она обманула злую Ривку, понастоящему обманула, как взрослая.

Она уже была беременная, у неё уже был выкидыш, у неё никогда не будет детей, не каждой взрослой женщине такое достаётся. В её жизни уже не стало Пети, она его выкинула вместе с плодом, и у неё был чемодан. Она редко его открывала, боялась, что ограбят и продадут на барахолке, и тряслась над ним, как над последним женским счастьем. Вот оно – счастье. Когда-нибудь она всё это наденет, и как будто всего, что с нею случилось-приключилось, – не было. Это и было счастье, и оно было – всего-то руку протяни – в чемодане. Надо только потерпеть и подождать.

И чтобы не украли.

Они шли, она прикрылась от солнца муфтой, думала и вдруг почувствовала, что Борис тянет её за локоть. Она остановилась. Борис стоял как вкопанный и смотрел вперёд, и она посмотрела туда же. От них шагах в двадцати находилось самое высокое, самое открытое место Венца. Она увидела сидевшего на белом как снег жеребце старого офицера в фуражке и наушниках. Рядом на мостовой, там, где сдувало снег, стояла коляска с откинутым верхом. В коляске сидели ещё два офицера, молодые. Они смотрели на левый берег Волги, и от всех на снегу лежала одна большая тень. Старый офицер стал поворачивать жеребца, и она увидела, что левый рукав его шинели пустой и подколот. Кучер натянул правую вожжу, и коляска тоже стала поворачивать, и она рассмотрела молодых офицеров и ахнула: у одного под козырьком фуражки лицо на уровне глаз было повязано чёрной шёлковой лентой, а другой держал составленные вместе два костыля.

В это время по Венцу в сторону Никольского спуска проходил строй кадет, мальчики были закутаны в башлыки, у них сияли глаза и покраснели от мороза щёки. Их старший что-то крикнул, они разом повернули головы к офицерам, дали шагу, выпрямили руки вниз, а старый офицер на коне поднёс к козырьку ладонь в перчатке и замер. Сидевшие в коляске молодые офицеры повернули лица к кадетам, старый офицер с поднятой к козырьку ладонью смотрел на кадет и улыбался.

«Этих русских мороз только красит! – подумала Амалия и позавидовала. – Чёрт бы их всех побрал! Все калеки, сам калека, а ещё улыбается!.. А эти мальчишки, наверное, нашкодили, и их ведут в прорубь... Так им и надо!»

– А ты в какой госпиталь? – услышала она Бориса.

– А? – Амалия ещё не отошла от увиденного.

– Ты в какой госпиталь?

Амалия на секунду замешкалась с ответом и почувствовала руку Бориса, тёплую, у неё перед глазами ещё маршировали мальчишки-кадеты с ясными глазами и красными щеками, и она тряхнула головой.

– Страшная картина, правда? Эти калеки... – сказал Борис.

– Разве мы с тобой мало видели калек? – готова была разозлиться Амалия.

– Да, конечно, – ответил Борис, – но не таких...

– А каких?

– Я думаю, что это отец и два сына...

Амалии до этого не было никакого дела, но она не удержалась.

– А тогда где их мать? – с напором спросила она. – И где матери этих, которых ведут в прорубь?..

Борис сдержал улыбку, он вздохнул, у него был такой вид, что ей стало его жалко. Он ни разу не спросил, чьего ребёнка она носила под сердцем, а потом выкинула, при его, между прочим, содействии... тёплые руки... И она содрогнулась.

– В тот госпиталь, который рядом с нашим кладбищем...

– Тогда туда, – сказал Борис и махнул рукой в сторону от Волги.

До Мытного двора они вместе прошли почти всю Дворцовую улицу и молчали. На Ярмарочной площади Борис попрощался, повернул, и дальше она пошла сама.

Солнце садилось красное-красное и такое яркое и большое, что Амалия загордилась и даже почувствовала, что оно греет, и удивилась, но тут же поняла, что просто здесь нет ветра, а все тени из-под солнца тёмно-синие.

Она вошла в бывшие казармы 5-го уланского Литовского полка через задний двор, зашла с черного хода и задохнулась от тепла. Её проводил взглядом отставной инвалид чёрт-те какой войны, и она знала, что он будет смотреть ей вслед, пока она поднимается по лестнице весь марш, и цокать языком. Она хмыкнула: «А если разобрать чемодан и одеться, ты бы тут и умер, что ли?»

И так было каждый раз.

Она прошла длинный тёмный коридор до самого конца в сестринскую, сняла пальто, оставила муфту, платок с головы опустила на плечи и сейчас всей кожей, руками и лицом впитывала тепло. Поднялась на второй этаж, выглянула, увидела, что сестра, которую она хотела подменить, ещё не пришла, ещё было рано, и спустилась в прачечную.

Работала ни о чём не думая. Доставала большим ковшом горячую воду, наливала в чан, добавляла холодную, полоскала бельё, выжимала, раскладывала по тазам. Она была не одна, ещё несколько женщин делали то же самое, это были вечерние прачки. Утренние, три крепкие солдатки, получали из палат окровавленное и разнообразно испачканное исподнее, обрабатывали в вонючем, едком растворе, кипятили, отбеливали с синькой и оставляли отмокать. За это им платили не только солдатским пайком, а и деньгами. Другие, вечерние, получали паёк и то, что деньгами назвать было нельзя. Это были несколько пожилых беженок, готовых на любую работу за еду, у всех были дети.

Работали молча, сделав своё дело, уходили. Сейчас две уже ушли, осталась Амалия, ей надо было прополоскать, отжать и развесить на улице бельё, она пришла в прачечную последняя.

Когда набралось десять тазов, Амалия по одному выносила во двор. Это была, наверное, самая тяжёлая работа зимой. В первый раз, когда ей указали на наполненные тазы и на дверь, она вынесла сразу три. Во дворе поставила на утоптаный снег и начала развешивать. С первым тазом справилась быстро, бельё из второго стало обжигать пальцы холодом, а с третьим она намучалась, потому что туго скрученная материя смёрзлась, а пальцы покраснели и не слушались. Ей на помощь вышла одна из женщин и отнесла таз обратно в тепло. И тогда Амалия поняла, что выносить надо по одному. Сегодня был уже пятый её приход, и она была опытная.

На заднем дворе она находилась не одна, раненые обслуживали себя сами, они перемещались, ковыляли на костылях, во двор заезжали ломовики и разгружались, выздоравливающие ходячие что-то относили на склад, что-то на кухню; сновали санитары и фельдшера, забирала лекарства и перевязочные материалы.

И тут Амалия была опытная, и не от холода повязывала голову платком так, что видны оставались одни только её глаза – на неё никто не заглядывался и не мешал работать. Смотрели вслед работавшие рядом женщины – там, в прачечной, – они качали головами, ахали-охали и молчали.

Малка не испытывала никакой ненависти к Барановскому-младшему. Она сама удивлялась. Она щупала себя в этом месте души, как щупают вчерашний ушиб, болит – не болит: не болело! Хотя во всём был виноват именно он, его умение зарабатывать на всём. Это ведь он спроворил её Пете.

Она вздрагивала, когда вспоминала Барановского-старшего, такого доброго, даже заботливого. А почему он тогда не пробрался через русских военных и не забрал с собой отца и мать, хотя бы мать, отец бы всё одно не пошёл, он боялся русских, точнее, их бесконечной географии.

Он, меламед, грамотный человек, как все немного подрабатывавший контрабандой, говорил, что география всё врёт, и нет никакой восточной границы у русских, что там бесконечность и если есть Америка, то это на западе, а на востоке бездонный чёрный колодец, и он говаривал на своих уроках: «Дети, не заглядывайте в бездну, иначе бездна заглянет в вас!»

И Малка решила, что она будет не такая, как Барановский-старший, а такая, как Барановский-младший. И Ривка. Не стервой, конечно... А кем? А хоть бы и стервой...

«И буду стервой!» – думала Малка, развешивая остывающее на морозе бельё, и случайно обернулась. В дверях стоял инвалид, и Малка видела, что он смотрит на неё и цокает языком. Она повернулась, развязала платок, потянула за один конец, а левой рукой держала таз, упиравшийся в её тонкую талию, и, проходя мимо инвалида, тряхнула волосами. Оглядываться не стала, услышала, что инвалид охнул, и больше она его нигде в госпитале не видала.

Когда закончила в прачечной, поднялась в сестринскую, насухо до красноты натёрла грубым полотенцем руки до локтей, капнула на кисти по капле бесценного глицерина, подарок австрийского доктора, заправила волосы под белую косынку с красным крестиком, надела передник и вышла в коридор. Сестра уже была на месте, она сидела за письменным столом и смотрела на что-то, лежащее в свете лампы.

«Наверное, получила письмо от любимого с войны!» – подумала Амалия, она подошла тихо, сестра её не услышала, и Амалия увидела, что сестра смотрит на фотографию, на которой был изображен военный, сидящий на стуле.

Малка увидела фотографию буквально на одно мгновение, военный был красивый, настоящий, в фуражке, с орденами, в глянцевах сапогах. Сестра вздрогнула и убрала фотографию, а Амалия сделала вид, что ничего не видела.

– Здравствуйте, Серафима! – поздоровалась Амалия.

– Здравствуйте, Амалия! – ответила Серафима.

– Я сегодня подежурю? – спросила Амалия.

– Подежурьте, Амалия, – ответила Серафима и стала подниматься со стула. – У меня в эти морозы и с этим ветром... так болит голова, просто всё плывёт перед глазами.

Она встала, и по тому, как она вставала, осторожно, придерживаясь руками за края стола, Малка неопровержимо поняла, что Серафима бережёт свою беременность.

«Но по ней же ничего не видно... и она ничего не говорила... – подумала Малка и тут же про себя усмехнулась: – А по тебе было видно? И кому *ты* говорила?»

Серафима встала и пошла в сестринскую.

Амалия заняла место и стала по-хозяйски осматриваться: внутренне себя, потом место: стол, стул – и не заметила, что слева к ней вернулась Серафима. Амалия вздрогнула. Серафима что-то принесла в руках. Коридор был тёмный, только горела лампочка над столом, маленькая и очень яркая, поэтому Серафима сияла белым фартуком с нагрудником и красным крестом, а больше в коридоре никого не было.

– Это вам, – сказала Серафима и положила на стол меховое что-то.

Мех был красивый и такой густой, он отблёскивал и манил пальцы зарыться. Малка ещё ни разу не видела мех так близко, только на проходивших мимо богатых симбирских дамах. Она растерялась.

– Вы, Амалия, не стесняйтесь, берите, я же вижу, как вы мёрзнете, а у меня ещё есть, это епанча, это из соболя, почти новая, я её почти не носила, – говорила не останавливаясь Серафима, она боялась, что Амалия её перебьёт, и торопилась.

Растерявшаяся Амалия поблагодарила и даже что-то сказала про сегодняшний праздник Крещения. Рядом со столом стоял ещё один стул. Серафима присела на краешек, сложила руки под животом, и они проговорили всю ночь.

VI

Быховский смотрел на прапорщика Жамина. Перед ротмистром сидел красавец, вновь испечённый обер-офицер с иголки.

Ротмистр давно уже обвыкся в полуфронтowych, полутыловых условиях. Фронт стоял рядом в нескольких десятках вёрст, но штаб фронта располагался в центре Риги в красивом новом здании, в котором до войны заседал окружной суд.

– Что же мне с вами, голубчик, делать?

Жамин смотрел на ротмистра.

– Вы – есть, отряд – набран! А никого на командира отряда мне не присылают...

Жамин не сводил глаз с ротмистра.

– Если бы вам подучиться немного... – Ротмистр увидел в глазах прапорщика удивление, коего искорка выскочила на мгновение. – Я знаю из вашей аттестации, что у вас по уставам и воинским уложениям везде «отлично», но здесь другой коленик, вы бы и могли командовать, хотя бы временно, но сейчас положение военное и уложение военного времени... Приказ №290 проштудировали?

– Так точно, господин ротмистр, – отчеканил Жамин и попытался встать. Быховский движением руки остановил его.

– Н-да-с! – Произнёс ротмистр и поджал губы. – Это хорошо-с, а вот я вам дам несколько бумаг, прочитаете здесь, и тогда поговорим...

Ротмистр поднялся, выбрался из-за стола и пошёл к сейфу, расположенному в углу кабинета. Ротмистр был в домашних туфлях на босу ногу, галифе туго обтягивали его плотные икры и свисали на мягкий ковёр длинные синие штрипки, а из-под галифе высвечивали белые кальсоны и тоже висели белые штрипки.

– Вы извините, прапорщик, что я в таком виде, – виновато оглянулся ротмистр на Жамина, – сутками в сапогах, ноги страшно потеют, прямо скисли, так что не обессудьте.

Жамин понял, что ротмистр сидел за столом без сапог и тут же вспомнил, что, когда вошёл в кабинет, его удивил кислый запах, хотя форточка была открыта.

Ротмистр дошёл до сейфа и стал рыться. И у Жамина состоялось такое впечатление, что всё в кабинете, что можно было увидеть, имело вид босости и кислости. Вот сейчас бы он позвал денщика, дал бы ему указание, и через час ротмистр мог бы зайти в свой кабинет и не узнать его, в хорошую, конечно, сторону. Но, скорее всего, ротмистр нагнал бы в шею и Жамина и денщика, и через некоторое время кабинет снова приобрел бы нынешний вид и... запах.

«А ещё дворянская порода!» – подумал Жамин и щелчком сбил с рукава пылинку, которой не было. Тот подпоручик-попутчик называл такие воображаемые пылинки «парижскими»! Высший шик! А если начать сбивать с ротмистра перхоть, с его плеч, то пальцы онемеют, веник обломится смахивать, и рука отсохнет, не зря всё, что было надето на ротмистре выше поясного ремня, имело блёклый, выцветший вид.

– Вы, прапорщик, не обращайтесь внимания, без бабы я тут, в смысле без жёнки, она бы содержала меня в полном порядке, а всякий денщик – сволочь и полагается быть на передовой.

Жамин аж вздрогнул, ротмистр будто прочитал его мысли, и он глянул на свои сапоги, которые так блестели, что в них даже что-то отражалось.

– А вы, прапорщик, просто молодцом, молодцеватый вид – пример для подчинённых! Вот... читайте... Если поймёте, что тут написано, буду за вас ходатайствовать...

Быховский не успел закончить, как в дверь постучали, и он крикнул «Войдите!». Вошёл дежурный офицер с папкой, посмотрел на Жамина, но он сделал вид, что занят чтением, и для верности даже стал шевелить бумагами. Дежурный офицер прошёл к столу и положил

папку, на папке Жамин искоса глянул и кверху ногами выхватил «Быховский», значит, папка была именная. «Надо бы заказать такую, тока из кожи, настоящей!» Папка ротмистра Быховского была простая картонная. Быховский открыл, взял лапшу телеграфной ленты, начал было читать вслух, и украдкой поглядывал на Жамина. Жамин эту «украдку» увидел и дальше ротмистр читал молча. Когда дочитал, дежурный офицер подал журнал, ротмистр расписался, и дежурный офицер, забрав папку, уже пустую, вышел. Ротмистр встал, отнёс ленту в сейф, запер, потом открыл, забрал из рук Жамина бумаги и также запер в сейфе.

– Вот что, голубчик... вы же из двадцать второго драгунского Воскресенского?..

– Так точно! – отчеканил Жамин, не понявший ничего из того, что только что сделал ротмистр.

– Ну и ладно... А ваш-то где отряд сейчас дислоцируется... в смысле, располагается?..

Жамин знал слово «дислоцируется».

«Проверяет меня, што ли?..» – с некоторой обидой подумал он на ротмистра.

– Вы не обижайтесь, прапорщик, у меня тут знаете, сколько народу всякого бывает, приходится деликатничать со словами...

Тон ротмистра был ласковый, но Жамин всётаки обиделся, успел, и уже был уверен, что ротмистр читает его мысли как по писаному, и тогда Жамин понял, что это для него тоже урок, как те уроки, которые он воспринял от подпоручикапопутчика, только уроки бывают разные.

– У нас тут госпиталь полнёхонек, кого только нет, самострельщики разные, палечники. Вы знаете, кто такие палечники?

Ротмистр злил Жамина, так злил, задавал ему вопросы и не давал ни на один ответить.

– Отряд, ваше высокоблагородие, дислоцируется в сорока верстах западнее Риги, в местечке Сыгўлда...

– Сйгўлда, – поправил ротмистр, – красивое место, а вы молодцом, прапорщик, молодцом, ничего не скажешь!.. А?..

– А про палечников мы, драгуны, ваше высокоблагородие, только слышали, мы же в седле, а это пехота, которая в палец себе стреляет...

– Таак!.. – протянул ротмистр. – Молодцом, дальше!

– Однако, ваше высокоблагородие, они не наши...

– Как не ваши? А чьи? Что значит – не ваши?..

– А то, что они уже в госпитале, и пускай с ними судейские разбираются, а нас интересуют дезертиры, которые, значит, с позиций бегут, то есть *их* нам ловить... *они* наши.

– Ну что ж! – Ротмистр щупал бритый подбородок. – Правда в ваших словах... – Он склонился под стол, и Жамин услышал характерный стук, когда сапоги ставят каблуками на деревянный пол. – Сейчас мы поедем в госпиталь, а командир скоро у вас будет... ещё огого какой командир!..

Жамин ничего не понял, но и делать было нечего, он поднялся, ротмистр махнул ему рукой, и Жамин вышел.

От залива вдоль Двины дул влажный солёный ветер, то тёплый и надувал весну, то пронзительнохолодный, и тогда позёмкой наметал за углами домов косые рёбра сугробов. Жамин пожался, крепко сцепил в замок пальцы в дорогих кожаных перчатках и подумал, садиться ему в седло на ветер или подождать ротмистра в тёплой дежурной части, и сел в седло. Вскоре вышел ротмистр, тут же к подъезду подъехал автомобиль, ротмистр уселся на заднее сиденье, и Жамин из седла увидел, как ротмистр потянулся руками вниз, к ногам, но военный автомобиль был не извозчичья коляска или сани, и медвежьей полости в нём не полагалось. Ротмистр недовольно пожал плечами, насупил брови, поднял воротник шинели и поправил блёклые порыжелые наушники под фуражкой.

«А чё ж папаху не надел? А наушники – гимназические ещё, што ли?» – подумал с ухмылкой Жамин и тронулся за автомобилем.

Красивая Рига, несмотря на жестокий ветер, радовала. От штаба до госпиталя было по прямой недалеко, и Жамин в седле отражался в больших зеркальных витринах магазинов первых этажей – он сам и его Дракон.

Как и было предписано, Жамин прибыл в Ригу после Рождества в самый канун Нового года и его сразу принял Быховский. Ротмистр тогда держался чеканно кратко, он выдал Жамину новое предписание, и Жамин отправился в местечко Сигулда на восток от Риги за сорок верст. В отряд прибывали люди, унтерофицеры кавалерии, казаки, почти все из госпиталей, вылечившиеся после ранений. Многие роптали, они рассчитывали попасть в свои полки, а вместо этого оказались не среди своих, а как они понимали – против своих. Жамин в их разговоры не вмешивался, и из числа обер-офицеров, которых вместе с командиром должно было быть не менее четырёх, пока что был один.

На тесный госпитальный двор заехали через арку, ротмистр вылез из автомобиля и, не оглядываясь на Жамина, пошёл к подъезду на чёрную лестницу. Жамин привязал Дракона к коновязи и проследовал за ротмистром. Быховский, пыхтя, поднимался по ступеням узкой лестницы. Мимо его объёмистой фигуры, прижимаясь к стене, пытались проскочить фельдшера, санитары и легкораненые. Увидев Быховского, они выпучивали глаза и сожалели о том, что их понесла нелёгкая на лестницу именно в этот момент. Быховского в госпитале знали, Жамин это сразу понял.

Он поднимался и както так незаметно пытался зажать нос, чтобы не ощущать жуткий острый запах лекарств и ещё чего-то, от чего хотелось стошнить.

– Нам по парадным лестницам ходить не пристало, сами понимаете, – за спину бросил ротмистр, и Жамин только выдохнул: «Читает он мои мысли! Читает!»

Кабинет главного врача был просторный, но Жамину показалось, что две грузные фигуры, ротмистра и главного врача, заполнили его чуть ли не весь. Ротмистр и главврач коротко поздоровались, они часто виделись, и главврач, не обратив никакого внимания на Жамина, положил перед усевшимся ротмистром список.

– Это новые, только что с передовой со странными ранениями...

– Палечники?

– Поразному, господин ротмистр, поразному. Ктото ранен в палец, кто-то в ладонь левой руки, редко правой... Есть с ранениями в локоть с близкого расстояния мимо кости и без следов ожога...

– Через буханку?..

– ... Не исключено!.. Есть в лодыжку, эти потяжелее, кости бывают раздроблены, и можно было бы их не рассматривать с вашей точки зрения, но уж больно схожие ранения у нескольких, будто стреляли по инструкции.

– Скорее по логике, сударь мой. – Ротмистр обращался к главврачу по-граждански.

– А какую вы тут усматриваете логику?

– А простую... – Быховский поднял на главврача глаза. – Они же набираются опыта и понимают, что мы тоже набираемся опыта и самострельщиков легко расщёлкиваем, как семечки, потому и изгаляются, так чтобы сойти за настоящих раненых.

– И что будем делать?

– А вот я вам привёл человечка, который, скорее всего, понимает в этом, не чета нам... – Быховский обернулся на стоящего Жамина. – Вот, прошу любить и жаловать, прапорщик Жамин, Фёдор Гаврилович, сам недавно с передовой, его на мякине не проведёшь!

– Фёдор Гаврилович, что же вы, голубчик? Проходите! Стоите в углу, как неродной! – Главврач Шаранский Вениамин Иосифович протянул к Жамину руки и указал на стул.

Жамин с облегчением вздохнул. Он продолжал злиться и переживал: они вместе с ротмистром вошли в кабинет, и главврач, военный чиновник медицинского ведомства в чине рав-

ном полковнику, встал и пошел с протянутой для приветствия рукой к ротмистру, а его, оберофицера Жамина, будто и не заметил. А тут вдруг и заметил и руку протянул, как бы признавая за своего.

– Присаживайтесь вот здесь! – Шаранский даже тронул с места стул, но ротмистр встал и произнёс:

– Нам, уважаемый Вениамин Иосифович, тут рассиживать некогда, вы позволили бы нашему уважаемому прапорщику где-то в незаметной каморке посидеть с этим вашим списком, а потом мы пригласили бы кого-нибудь на беседу...

Жамин застыл.

– Да, сударь мой, сейчас распоряжусь, – ответил главврач и стал крутить ручку телефона.

Через несколько минут Жамин сидел в тёмной комнате с одной-единственной тусклой лампочкой под самым потолком на табурете, как ворона на колу, и держал в руках список. Комната по углам была завалена мешками, от которых дурно пахло.

Не снимая перчаток, он положил оба листа на колени и стал всматриваться в фамилии и названия частей, но ничего не видел. Перед его взором ещё сидели друг против друга две грузные фигуры – ротмистра и главврача. Он их ненавидел.

«Ротмистр то ладно, дворянское отродье, барин, мать его! А этот то, врачиска, жид жидом, а туда же, «сударь мой», – передразнил Жамин главврача. Он чувствовал себя униженным.

В училище ему попалась книжка под названием «История государства Российского». Читать особо было некогда, но он её пролистал несколько раз с самых первых страниц и вычитал, что дворяне произошли от слуг княжеских и царёвых, а предки этих слуг чаще всего были дружинниками, а их предки смердами, простыми крестьянами, такими же, как его прадед, дед и отец. И само название, о чём Жамин никогда не задумывался, «дворянин», происходит от слова «двор», и оно очень созвучно со словом «дворняга».

Жамин смотрел в список, а вместо этого видел на родительском дворе хряка Борьку и лохматую дворнягу, старую суку, лишних щенков которой они с братом каждый раз топили. И вдруг Жамин чуть было не рассмеялся в голос, потому что хряк Борька был один в один похож на ротмистра, только у ротмистра уши не висели как у Борьки; и одновременно хряк был похож на главврача, но не мордой, а всем туловищем, толстым, неповоротливым и лишенным талии: «Ну, боров просто и есть!» На жида Фёдор всё же обижался меньше, чего с него возьмёшь, он даже не офицер, а всего лишь чиновник военномедицинского ведомства. Ротмистр, вот кто был главный обидчик – дворянин, дворняга, слуга!

А вот родовая Фёдора уже давно никому не служила – как только дед выкупился из крепости. Вот кто соль земли! И «соль», потому что, допустим, сахарной пудры отродясь не выдывали и «земли» – а кто, с позволения сказать, её, землю, ласкает, пашет, не даёт засохнуть, боронит, думает о ней денно и ночью! Эти разве? От пришедших мыслей Жамин так сжал кулаки, что даже испугался, не лопнет ли кожа отличных дорогих перчаток, и с его колен упали обе бумаги. Он стал их поднимать, и услышал шаги в коридоре за закрытой дверью, и не обратил внимания, но тут же распрямылся, потому что в комнату проник запах до того ему знакомый, что он не заметил, как положил списки на табурет и, повинувшись чему-то, что было сильнее его, пошёл к двери, открыл и оказался нос к носу с ротмистром.

– Голубчик, а я за вами! Только списки не забудьте!

Ротмистр выглядел озабоченным, он только что узнал, что большая партия раненых была отправлена в тыловые госпитали, и в этой партии без ведома ротмистра уехали несколько его осведомителей, на них ротмистр рассчитывал, что они укажут на самострелов и агитаторов.

«Вот, чёрт побери, – думал ротмистр, – надо срочно выяснять, кого куда отправили, а это же сколько бумаг надо перелопатить, а тут ещё в Сигулду придётся ехать!» Он шёл впереди, за ним еле успевал в узком коридоре Жамин. Ротмистр обернулся.

– Вы, прапорщик, срочно возвращайтесь на место, к себе в отряд, наконецто назначен ваш командир, а его, кроме вас, и принять некому!

«Дьявол! – думал про себя Быховский. – Свистопляска какаято! Что я говорю, „принять некому...“ Почему его не направили сначала ко мне, а сразу в отряд...» – злился он. Обе новости ротмистра очень огорчили – и то, что он лишился осведомителей, и то, что начальником отряда по борьбе с дезертирами назначили его племянника, изгнанного, как уже догадался ротмистр, из лейбкирасир его величества, поручика Смолина.

«Опять чтонибудь напаскудил, стервец!»

Жамин следовал за ротмистром и был уверен, что только что мимо коморки, в которой он сидел, прошла Елена Павловна. Он понимал, что это невозможно, что этого не может быть. Она должна быть в Москве, а скорее всего, вернулась в Тверь, домой. Он, когда уезжал после окончания училища, решил, что пока писать не будет, нечего навязываться, а когда станет не прапорщиком, а подпоручиком, а того гляди, и поручиком, тогда и даст о себе знать в настоящей красе. Он следовал за ротмистром и понимал, что через несколько часов будет у себя в расположении, и неизвестно, когда приедет в Ригу, а может... раненым...

Жамин притормозил: «Раненым... а может, даже хорошо! А может... – Он тряхнул головой. – Нет, это не она... Шчас скока всяких немцев и жидов фабрикуют духи!...»

– Вы о чём задумались, прапорщик? – бросил ротмистр.

«А куда мы идём?» – невольно спросил себя Жамин, и не смог ответить, а оказалось всё просто: ротмистр вёл его обратно в кабинет к главному врачу.

– Вы список прочитали? – спросил ротмистр и повернулся.

– Прочитал, посмотрел...

– И что увидели?

– А для чего?

– Побеседовать, на предмет характера ранения...

– Аа! – протянул Жамин и даже разочаровался. – А давайте одного самого старого, а одного самого молодого...

– А почему так?

– А комуто из них надоело, скорее всего старому, а молодого чтонибудь подучил...

«Вот и агентура! – подумал ротмистр, перестал оглядываться на Жамина и улыбнулся. – И писать ничего не надо, никаких тебе запросов!»

Жамин ещё мучился вопросом, кто пронёс мимо него запах знакомых духов, и уговаривал, что «это не может быть...», как в комнату ввели немолодого солдата с забинтованной и подвязанной левой рукой. Жамин увидел его, подошёл и ударил в ухо. Солдат упал, Жамин схватил солдата за перевязанную руку и рванул на себя так, что солдат как на пружинках встал на ноги. Жамин снова занёс над ним руку и, дыша прямо в глаза и в нос, спросил сквозь зубы:

– Надоела? Надоела ваявать? Жёнка одна дома с ребятешками справиться не может, а соседбогатеи разорять твоё хозяйство и зарится на старшую дочку? До дому надоть?

Быховский даже не стал оглядываться на главного врача, потому что знал, что тот стоит зажмурившись. Он бы и сам зажмурился, но не мог, потому что кто-то же должен всё видеть, и он видел, что от солдата осталась оболочка и пустота. Солдат, по списку – Спиридон Петрович Спиридонов, 40 лет от роду, православный, крестьянин Ярославского уезда Ярославской губернии, рядовой; по виду худющий, лысый и с младенчества не бритый, не стоял перед Жаминым, а, как показалось ротмистру, висел. Сначала солдат должен был охнуть, потом, когда Жамин ухватил его за раненую руку, – закричать или, по крайней мере, зарычать и начать выдёргивать руку из руки Жамина...

Вместо этого солдат Спирька Спиридонов молчал и не дотрагивался ногами до пола. И вдруг ротмистр услышал:

– А ты откель знашь? Сам, што ль, из богатеев? Сам до чужих дочерей охочь? Оглашенный! А и надоело, дык што?

Ротмистр не поверил своему слуху, он смотрел на рядового Спиридонова и видел, что тот не оболочка, а человек и стоит на своих ногах на деревянном паркете кабинета главврача. Оттого что ротмистр не понял, как произошла такая перемена, он сказал:

– Прапорщик, вы свободны, возвращайтесь в расположение!

Когда Жамин вышел из кабинета, то не заметил стоявшего на костыле рядом с дверью молодого солдата с подвязанной ногой, да и вообще ничего не заметил, как будто бы то, что сейчас произошло, было, как на улице, где то и дело встречаешься и расходишься со случайными прохожими, а тех, кто на другом тротуаре, даже и не видишь.

Жамин уже думал, что делать дальше и как выйти из госпиталя так, чтобы не встретиться с Еленой Павловной, если это была она.

Жамин сбежал по лестнице, добежал до Дракона, как воздух вскочил в седло и погнал через залившуюся неожиданным февральским солнцем красавицу Ригу.

Ротмистр, как мог, ласково поговорил с рядовым Спиридоновым и не узнал ничего нового.

Рядовой Спиридон Петрович Спиридонов отказался сесть в присутствии «господ ахвицерб» и не корчился от боли, причинённой ему новоиспечённым офицером из своих, произнеся одну фразу: «Мы ить не без разумения, мыы понимаим...»

Тут для Быховского возник вопрос, как простой солдат мог распознать в щёголе Жамине выходца из своих, ведь солдат же сказал «оглашенный», значит, новенький, ещё недавно свой, а дерётся, как заправский офицер. И тут же вспомнил, что Жамин говорил с солдатом на его языке, и спросил:

– А что, и правда у тебя малмала и жёнку обижают?..

– И дочка старшья, красавица, и откуда он, энтот, который «ваш», всё так наскрозь проведаль?

– А до войны чем занимался?

Спиридонов ответил не задумываясь:

– Лето лён мнём, а зимой лес рубим на тёс, а когда извозом...

– А родня?

– А братовья, старшье, кто в Ярославле, кто в Москвематушке, всё банщики да целовальники, народ денежный...

– А ты от мобилизации откупиться не смог?

– А нам чем? На нас тятя да матка повисли, пока не померли, не захотели в город съехать, так вот и забрили...

– И никто не подбивал, в мякотьто пальнуть?

На этот вопрос Спирька насупился и дальше молчал.

Не получив ответа, ротмистр его отпустил и глянул на главврача. Тот выстукивал об стол мундштук папиросы.

– И что делать с такими? – на сей раз задался вопросом ротмистр.

– Лечить! – ответил Шаранский, у него подрагивали руки, и он, пытаясь прикурить, ломал спички.

– Лечиить! – протянул Быховский. – Понятно, что лечить...

– А вылечим, на комиссию, и, если будет годен и война не кончится, – в строй.

– Да уж, сударь мой, тут у нас круг... а не спираль... – Ротмистру больше всего не хотелось вступать в разговор о том, когда кончится война.

Заглянул санитар, Шаранский посмотрел на Быховского, тот кивнул, и санитар завёл в кабинет следующего, подозреваемого, по замыслу Жамина, «самострела».

«Самострел» был самый обычный солдат, с подвязанной ногой, с именем, местом рождения и местом призыва, холостой и предпоследний, кого из его большой семьи призвали, с «мамкой остался самый младший на развод, штобы мамкато с девками вовсе одна не загнудася».

– И что? Как *тебя* угораздило?

«Самострел» стал мяться на костыле.

– Ну, что же ты молчишь? Или стыдно сказать? – Быховский уже настроился, что солдат будет выдумывать «легенду», как «он дошёл до жизни такой».

– Стыдно, ваше высокоблагородие, как есть – стыдно! – «Самострел» потупился.

– Что ж так?

– В нужнике, выше высокоблагородие...

– Это как же? – Такой легенды ротмистр ещё не слышал и оглянулся на главврача, тот сидел и внимательными глазами через облако папиросного дыма наблюдал за тем, что происходит.

– А у нас часть соседская встала, из этих, из стрелков местных, как их...

– Латышских...

– Во, во!

– И что стрелки?

– Стрелкито?

– Да, стрелки!

– А оне лихие ребята, в нужник с гранатами ходят...

– С гранатами в нужник? Это зачем же?

– А затем и ходят, што лихие, да только управляться с гранатами не все способные, особливо которые сопляки, молодец...

– Ну и...

– Ну и уронил один... с пояса... за чеку, што ли, была привязана...

– Что? – не понял ротмистр. Они с главврачом переглянулись и готовы были расхохотаться, но хватило сил, сдержались.

Ротмистр знал о нескольких случаях, когда в нужники попадали вражеские снаряды, и что было после, в общем, и грех и смех, а тут...

– ...так все побегали, как куры с насеста, и никого не задело, тока г... извиняюсь, вздулось, будто закипело, а мне осколок и прилетел... свидетелей... скока нас там было...

– Рана грязная, это в анамнезе записано... – сказал доктор. Ротмистр увидел, что доктор хочет ещё что-то добавить, но мнётся.

– Нука выйдька на секунду, – обратился он к солдату, тот вышел.

– Рана была очень грязная, его там, на месте происшествия, отмыли, чем могли, талым снегом, но не чисто, не до конца, и стало нагнивать и пованивало, мы даже подумали, что сам намазал для верности, а тут такая история. Кстати, он доковылял до перевязочного пункта с оружием...

– Чтобы получить наградные, что не бросил винтовку и не потерял?

– Вроде того!..

– Истоория! – протянул ротмистр.

– Да уж, история!

Ротмистр и главврач глядели друг на друга, они, видимо, одновременно представили себе всю эту историю и всётаки расхохотались.

VII

Выскочив изпод арки госпиталя, Жамин гнал Дракона.

Это был дорогой конь и его любимый, но он гнал его, не жалея плети. А чего его жалеть, когда его самого, Жамина, никто не пожалеет. Эти мысли мешались, он старался избавиться от них, стереть, как стирают пот со лба.

Слёзы от встречного ветра ползли по щекам.

Перед ним расстилалась дорога, широкая хорошая дорога, каких в России он не видел, а только видел в Пруссии и здесь, но он знал, что и здесь тоже живут немцы, и выходило так, что там, где живут немцы, везде хорошая дорога. И дома, хоть и не такие богатые, как в Пруссии, а всё же лучше, чем в России, крепче, что ли, осанистее.

Выехав из Риги на восточное шоссе, он то и дело объезжал и уступал дорогу маршевым ротам. Роты двигались с востока на запад, и он о них думал, что вот они все, солдатушки, бравы ребятушки, побегут от страха с позиций, а он их будет ловить по окрестным лесам и болотам, и сам понимал, что его мысли все дурные.

Один подпоручик, шедший впереди роты, когда Жамину надоело всех объезжать и уступать дорогу, и Жамин пошёл прямо на него, стал хвататься за кобуру, но Жамин так замахнулся плетью, а поручик так вжал голову в плечи, что фуражка накрыла как крышкой его погоны крылышками, а передние ряды роты шарахнулись, но сразу и заржали не хуже того, как если бы развалились все четыре стены бани со злыми, голыми бабами с шайками и вениками наотмашь!

Жамин слился с Драконом в ритме его бега, до Сигулды оставалось недалеко, уже показались крыши, и Жамин подумал, что ему не хочется ехать в расположение. Он увидел природу и захотелось побыть одному. Он доехал до крайних домов и поворотил бы прямо в чащу, если бы не снег и не мокрая, разъезжающаяся под копытами земля в февральском лесу.

Сигулда стояла в нескольких десятках вёрст от моря, ветер был влажный, мягкий, и казалось, что он дует не параллельно земле, а мается прямо из низких серых облаков. От дороги по левую руку текла чёрная река, узкая, глубокая, как Волга в его родных местах, но не в низких плоских берегах, а в высоких холмах, поросших прозрачной щетиной леса. Он свернул с шоссе и пошёл шагом по твердому просёлку. Дракон как будто бы пятидесяти вёрст от Риги не проскакал, опустил голову и из бурой ржавой травы на обочине выхватывал редкие яркие зелёные травинки, иглами торчащие и демонстрирующие, что весна в этих местах уже скоро.

Погода стояла самая любимая, Жамин бросил повод.

После того как маршевый подпоручик испугался плётки, Фёдор перестал думать о военных.

А зачем его вызвал ротмистр, он так и не понял.

Он вспомнил дом, отца, мать, Тверь, со злобой Елену Павловну, раздери её татары, Серафиму... Фёдор тряхнул головой, нет, Серафиму ему вспоминать не хотелось, к чёрту! К чёрту Серафиму! Фёдору было стыдно, он себя затапывал ногами, что ему нечего стыдиться, но ему было стыдно. А Серафима, – ярко вспыхнула в его сознании и не захотела «к чёрту», и даже попыталась повести с Фёдором разговор. Станным получался разговор – Фёдор молчал, а Серафима смотрела на него и не открывала рта. Так было хуже всего – Фёдор это уже знал. И разговор был как болотная тряпина, когда каждое движение спастись только приближало воду к губам. Серафима молчала, а Фёдор не мог её прогнать.

Чтобы отвлечься, он вспомнил, что ротмистр сказал про командира, который в отряд наконец-то назначен, и ещё вспомнил, что вчера отряд должен был получить ещё два пулемёта к двум уже полученным. Всего должно быть восемь, это сильно удивляло солдат: не в каждом

полку на фронте пулемётов столько, да ещё новенькие и с полным боеприпасом, и изза этого роптали, мол, а в кого стрелятьто будем?

«Вот я щас с этим и разберусь, к приезду командирато! А ты пока постойпогоди! – сказал он Серафиме и погрозил: – Я тья!» – и стал заворачивать коня, но Дракон заупрямился и потянулся мордой к луже на дороге.

«Ах ты ж, балда балдой! – в сердцах подумал про себя Жамин и соскочил. – Гнал почти пятьдесят вёрст, а щас напоить забыл!» В луже вода была стоялая, и Жамин повёл Дракона в ближний грот.

Дорога, по которой ехал Фёдор Гаврилович, была красивая: слева высилась сплошная, поросшая старыми деревьями и ползучими растениями крутая стена скал, а справа, извивалась шёлковой лентой чёрная река. Бурая прошлогодняя трава уже подалась местами свежей зелёной, и всё это вместе смотрелось как в балаганчике, в театре, на сцене с нарисованной красотой. И никуда не хотелось.

В дикой скалистой стене было несколько больших и малых гротов, большие были высокие, похожие на арки, как будто древний великан, предок здешних людей, выпил чегонибудь крепкого, присел на скалы отдохнуть и кривым острым ногтем поковырялся.

Внутри самого большого грота, высотой в три, а то и четыре человеческих роста и глубиной шагов в десять, прямо по каменной стене сочилась вода, накапливалась по краю, вытекала из грота и пропадала в мягкой земле, а потом в реке.

Февральский день заканчивался, и гроты стояли чёрные.

Жамин соскочил, взял Дракона за оголовье и завёл в грот поить и вдруг услышал за спиной:

– Беги её, чего ты ждёшь от ней участия, сочувствия, быть может... Зачем же мысль тебя тревожит?.. Зачем с неё не сводишь ты очей?..

Голос был мужской и тихий. Грот был настолько велик, что, войдя в него с конём, Фёдор видел, что впереди темно и по сторонам темно. Фёдор от неожиданности замер и услышал, как зашуршал песок.

«Кто это здесь?» – подумал он и повернулся на голос.

– ...Любви ты ждёшь, хоть сам ещё не любишь, не правда ли? Но знаешь, может быть, тебе придётся страстно полюбить, тогда себя погубишь ты, погубишь...

Фёдор повернулся так быстро, что ослеп от контрастного света, но краем глаза видел, что в тени у стены стоит офицер в накинутом на плечи офицерском пальто и в фуражке. Фёдор проморгался. Офицер медленно шёл к нему, и песок шуршал под его сапогами.

– Взгляни, как эта ручка холодна, как сжаты эти губы... Что за горе искусно скрыто в этом взоре... Ты видишь, как грустна она... бледна...

Офицер тихо декламировал и смотрел Жамину в глаза.

– Беги её... Вижу, прапорщик, вы имеете намерение напоить здесь вашего изумительного чистокровного? Не советую!

Жамин пришёл в себя.

– Так точно, ваше высокоблагородие! Прапорщик особого отряда двенадцатой армии Северного фронта Жамин! – Он разглядел на кителе офицера знак лейб-гвардии кирасирского его величества полка и на рукаве пальто нашивку за побег из плена.

Офицер остановился, и Жамин теперь мог его рассмотреть. Это был поручик, высокого роста, одетый в накинутое на плечи пепельного цвета офицерское пальто с золотыми погонами и жёлтыми петлицами, безукоризненно белую фуражку с жёлтым околышем, что подтверждало его принадлежность к лейбгвардии кирасирам его величества. Поручик натягивал цвета beige с капелькой крови лайковые перчатки, сапоги на нём были не по форме, а берейторские с отворотами в тон перчаткам.

– Это стихи Льва Мея... очень хороший поэт, только немного забытый, а зря...

Жамин стоял, смотрел и слушал нарядного и красивого поручика.

– ... а поить тут коня не советую, чтобы не навлечь на себя немилости местного населения. Они считают воду здесь, в этих гротах, чуть ли не святой, местные женщины даже ходят сюда для омоложения и омоложения, поэтому... – Поручик остановился.

Жамин смотрел.

– А я поручик Смолин, назначен к вам командиром вашего отряда, – продолжил поручик, он выглянул из грота и свистнул, так неожиданно, что Жамин вздрогнул и услышал топот копыт и почувствовал, что его Дракон заволновался.

К входу в грот подскакали двое, один явно денщик, он был на гнедом дончаке, другой какойто странно одетый, но в таких же берейторских с отворотами, только жёлтыми сапогах на чистокровном караковом жеребце. Он держал на длинном поводу буланого в белых носках гунтера.

– А я вижу по вашему замечательному другу...

– Дракон его зовут, ваше высокоблагородие! – отчеканил Жамин, он понял, что вот таким вот странным образом он встретился со своим командиром.

– Хорош, – сказал поручик. – И, судя по вашему Дракону, я вижу, что вы человек денежный!.. – закончил он.

Денщик и другой всадник соскочили на землю, взяли гунтера с обеих сторон за оголовье и подвели к поручику, тот подал колено, денщик поддержал, и поручик вскочил в седло, гунтер тут же встал свечкой, поручик ударил его плёткой в пах, и гунтер сделал прыжок. Поручик налёг ему на шею, и тогда их настиг другой всадник, успевший взобраться в седло, тот, который был обут в берейторские сапоги с жёлтыми отворотами. Он махнул плёткой перед самыми глазами гунтера, и гунтер остановился. Жамин понял, что этот странный является свитой гвардейского поручика, что он...

Уже на успокоившемся гунтере поручик поехал к Жамину, тот тоже успел вскочить в седло и правил к поручику.

– Мой грум, он же берейтор, – поручик махнул в сторону странного, – его зовут Джонни, хотя один чёрт он ни бельмеса не смыслит порусски. А эту сноровистую сволочь, – говорил поручик, ласково поглаживал гунтера по шее и улыбался Жамину, – я купил неделю назад, дорого обошёлся. Ну что же, прапорщик, провожайте в расположение.

После утреннего кофе Быховский позвонил в автоотряд штаба армии и вызвал машину. Через полчаса он усаживался на холодную кожу заднего сиденья.

«Чёрт побери, забыл!» – вспомнил он.

– Вы подождите меня, голубчик, – обратился он к шофёру. – Я буквально на секунду.

Ротмистр поднялся в квартиру во втором этаже и вернулся с толстым ярким клетчатым пледом.

«Яркий, чёрт подери, какой, но ничего, пока будем ехать до окраины, потерплю, а там плевать, если кто и увидит! Понятно же, что холодина несусветная и ветер, как от дьявола сорвался! И кто придумал поставить Сережку на специальный отряд? И чего он натворил, что его из полка турнули?» То, что племянника ротмистра Быховского поручика лейбгвардии кирасирского его величества полка «турнули», Быховскому было ясно как божий день. «Щас как приеду, ух как навалюю!.. Как ему перед родителем не совестно?»

Через двадцать минут авто ротмистра выкатило на восточное шоссе в сторону Сигулды, и Быховский поднял воротник и укрыл ноги пледом. Он бы завернулся в этот плед с головой, таким пронизывающим был ветер с северозапада, от Рижского залива, но по шоссе шли маршевые роты и их командиры, подпоручики и прапорщики, завидев ротмистра, подавали очень глупые на марше команды. Ротмистр устал на них махать рукой, мол, идите себе, идите, всё одно шагать парадом не обучены. В какойто момент он вспомнил купринский «Поединок»

и то, как подпоручик Ромашов от усердия повёл свою роту криво и что из этого получилось, и улыбнулся, и удивился, потому что улыбаться у него не было никаких причин: всё развивалось как нельзя хуже – 12я армия, которую он обслуживал, и весь Северный фронт наглухо и, судя по всему, надолго закопался в курляндский песок, и началось...

Ротмистр натянул плед на левое плечо до самого уха, а сам, чтобы не видеть никого из встречных военных, отвернулся направо.

И что самое обидное – скверна началась и доныне проистекает от прибывающих с пополнением скороспелых оберофицеров, особенно выпускников университетов и технических училищ, вон они на дороге ведут свои маршевые роты; а ещё от унтеров из городских мастеровых. Как с этим справиться, ротмистр не знал. Средство было только одно – вербовать осведомителей именно среди офицеров, но это как раз было негласно запрещено, а надо, как выражался ротмистр в своём кругу, «надо не бить мух, каждую в отдельности, а захлопнуть перед ними дверь ещё в тылу, чтобы эта агитационная зараза не проникала на фронт, на передовую».

Он попытался прикурить, но ветер задул его последние спички, он в сердцах выбросил бесполезный коробок и попросил шофёра ехать помедленнее и вспомнил, что в портфеле болтается солдатская зажигалка, сфабрикованная в окопе из немецкой от пулемёта стреляной гильзы. «Так уж весь керосинто небось и выветрился!» – подумал он, но всё же открыл портфель, порылся и обнаружил её на дне. Эту зажигалку для него конфисковали, а потом он понял, что это была просто солдатская окопная затея, и он кого-то лишил надёжного огонька. Но что сделано, то сделано.

Из запрессованной гильзы выглядывала суrowая кручёная нитка фитилька, а рядом торчал укрепленный кусочек кремня, надо было этим кремнем обо что-нибудь чиркнуть, и фитилёк, если он пропитан керосином, загорится. Ротмистр пожалел о выкинутом спичечном коробке, стал оглядываться и увидел, что чиркнуть на заднем сиденье авто не обо что, только кожа, деревянная дверь и бронзовая ручка, неудобная, об неё не чиркнешь. Вдруг он увидел, что шофер не оглядываясь протягивает ему что-то, ротмистр взял, это было кресало, и тут ротмистр улыбнулся во второй раз, он вспомнил сказку Андерсона и кресало того хитрющего и умнющего солдата. Ротмистр чиркнул, фитилёк дал гари, керосиновой вони и огонёк. Быховский закурил. Наконецто! Штука оказалась надёжная – солдатская смекалка и умение из негодных вещей сделать что-то, что облегчает жизнь. Прелести турецкого табаку он не почувствовал, потому что переменявшийся на восточный встречный ветер, сильный и сухой, ударил в нос, вышиб из глаз слёзы, и ротмистр позавидовал шофёру, сидевшему за рулём в специальных очках. И подумал, что это он сегодня только и делает, что кому-то завидует: солдату, умеющему из ерунды сделать нечто нужное; шофёру, который не мучается, потому что ему кто-то выдал эти дурацкие на вид, как глаза у стрекозы, очки; и вспомнил, куда и по какому поводу он едет.

«Ах, ты ж племянничек-племянничек, что же ты такого натворил?»

Конечно, ротмистр мог позвонить куда надо, и ему бы всё рассказали, но он не стал, чтобы не привлекать к Сергею Смолину излишнего внимания, большего, чем тот привлёк сам.

Его племянник Сережа Смолин, сын умершей в молодые годы старшей сестры, рос отброй и завистником.

«И в кого ты такой уродился? – думал Быховский, и сожалел, и очень не хотелось ему ехать в Сигулду, хотя в правую щёку уже дул другой ветер – южный, тёплый, с запахом весны. – И почему ты бросил брата, когда тот умирал в Москве, и даже не посетил его и не забрал для отца его вещи? Пришлось госпитальным по почте слать!..»

Когда Сереже исполнилось четыре года, родился его младший брат Володя, Володечка, как его все называли, и Сережа начал ревновать. А потом их мать, старшая сестра Быховского, умерла, и мальчики остались с гувернантками, гувернёрами и немолодым уже отцом. Они жили близко на Фонтанке, а летом снимали соседние с ротмистром дачи на Лисьем носу, поэтому мальчики росли на глазах, и Сережа всё время хитрил. Потом он поступил в Пажеский корпус

и за азартные игры чуть не вылетел, а Володечка кончил с отличием гимназию и, не достигнув с отцом и старшим братом понимания по поводу традиционной для семьи военной службы, уехал в Москву в университет. А потом записался вольноопределяющимся, получил ранение и в московском госпитале умер. Смолинодец давно болел и по состоянию здоровья в Москву к умирающему сыну не поехал, а Сергей в Москве был, но заходил ли он к брату, посетил ли его, Быховский узнал, что нет, только когда прошлой осенью после командировки в Симбирск сам приезжал в Москву по делам. Однако к тому времени Сергея в Москве уже не было, он вылезился после плена и отбыл в полк, а полк в составе 1й гвардейской дивизии воевал.

«Но как же ты умудрился к брату не зайти? Не посетить? Не забрать его вещей? И не ври мне, что ты ничего про Володечку не знал!» Этот разговор ротмистр вёл со своим племянником с тех самых пор, потом разговор сам собой затих, и теперь возобновился при таких неожиданных обстоятельствах.

«Ну, щас я до тебя доберусь!» – зло думал ротмистр, а на самом деле наслаждался и даже подставлял лицо, потому что ветер смягчился, по крайней мере ему, закутанному в плед уже было жарковато. Он освободился от пледа и оглянулся по сторонам.

Несколько раз он был в Сигулде проездом и слышал про местные красоты и думал о том, что было бы прекрасно попасть сюда просто так, просто в замок, просто посмотреть, поглазеть, а ещё бы здорово с женой, детей у них не было.

Ротмистр вытащил часы, было девять утра.

«Если всё по распорядку, то они уже должны позавтракать и вести с личным составом занятия!» – подумал Быховский, ему стало скучно, он закрыл глаза и то ли думал, то ли дремал. Ему так не хватало времени остаться со своими мыслями и воспоминаниями наедине, просто вытянуть ноги к камину, на худой конец к печке, запахнуться в широкий халат, натянуть по самые брови ночной колпак и держать рядом с собой рюмку хереса, можно даже не пить, но рюмка должна быть, она должна стоять и охранять его покой и возможность думать, пока он будет смотреть на огонь.

– Ваше высокоблагородие...

Ротмистр вздрогнул, авто стояло, шофер уже выскочил и держал открытой дверцу.

Ротмистр мигнул бровями и почувствовал конфуз оттого, что он собирался ещё на подъезде к Сигулде свернуть и сбросить под сиденье слишком яркий плед, но задремал, а его уже встречают.

Жамин, когда авто заехало на плац и давало круг, сидел в седле. Рядом с поручиком Смолиным, который сегодня пересел на чистокровного каракового жеребца. Строптивного гунтера ещё объезжал англичанинберейтор где-то на окраине Сигулды.

Когда ротмистр поставил левую ногу на прибитую землю плаца, поручик и Жамин соскочили, поручик скомандовал «Смирно!», Жамин крикнул «Смиирна!», и ротмистр замахал на них руками:

– Вольно, господа, вольно, чего кричатьто, не на Царицыном лугу.

Поручик был одет в полевую фуражку и всё полевое для строя. Он замер, приветствуя жандармского ротмистра, ротмистр сам двинулся к нему на мягких, затёкших ногах и что-то странное сделал руками – подхватил поручика под локоть и повлёк его к авто.

Жамин не понял.

А поручик вдруг, совсем по-родственному, стал помогать ротмистру снова сесть на заднее сиденье и сам сел рядом и только в последний момент повернул голову и крикнул:

– Вольно!

– Воольно! – скомандовал Жамин и не знал, что делать, но быстро сообразил, что сейчас кто-то кого-то украл прямо на глазах: то ли ротмистр украл поручика, родственник, что ли, то ли поручик украл ротмистра...

«Точно родственник! Они ведь все промеж себя родственники!» – дотумкал, как говорили казаки, Жамин, но это было уже не его дело.

Он вызвал подхорунжего, велел продолжать занятия, наблюдал до самого обеда, а когда отряд повели в казарму, не дождавшись начальства, поехал на квартиру.

Жамин ехал и вспоминал замечательный вчерашний вечер.

Немного шумело в голове после лишнего коньяку, который услужливо подливал денщик поручика. Какимто странным «йезом» всё время поддакивал англичанинберейтор и хохотал, как казалось Жамину, невпопад, а поручик хвалил всё, что бы ни сделал Жамин, и всё, на что падал взгляд поручика. Играли на квартире Жамина. В конце игры поручик похвалил выдержку прапорщика, его офицерское поведение и, хотя Жамин видел все шулерские повадки Смолина, он был так польщён, что гвардейский офицер сел играть с ним, Жаминым, в офицерскую игру «штос», что легко, безо всякого для себя расстройства, проиграл двести рублей.

«А что это они всё какуюто „манную“ вспоминали?» – улыбался Жамин и позволил Дракону идти шагом. Когда наступала очередь Жамина подрезать колоду, он видел, что поручик улыбается ему и слышал ласковое: «Диа Тео, ю соу мани мэн!» – и поглядывал на берейтора, тот ответно поглядывал на поручика, и каждый раз произносил одно и то же:

– Манки мэн, со!

Домой Жамин не доехал, по дороге он решил, что сначала пообедает в маленьком ресторанчике недалеко от шоссе, но не дали, сразу после того, как он сделал заказ, ворвался вестовой и передал приказ поручика срочно явиться. Хозяйка на русском языке с красивым местным акцентом сказала, что заказанное Жаминим она велит принести ему домой к ужину, и улыбнулась.

Жамин вскочил на Дракона, когда влетел на плац, автомобиль уже стоял, и ротмистр сидел на заднем сиденьи, отвернувшись от поручика, а тот от ротмистра.

– Вот что, голубчик, – сказал ротмистр, не вылезая из машины. – Разделите людей пополам, одна часть пусть будут дезертирами, понарошку, а другой будете командовать вы. Выберите им командира и заберите все патроны, оставьте только винтовки. Они будут преодолевать реку, а вы будете стоять на этом берегу. У своих тоже заберите патроны, а то ещё стрельнёте в азарте. Всё понятно?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.